
АНТОЛОГИЯ РАССКАЗА

Валерий Богушев*
(г. Воронеж)

ИНОПЛАНЕТЯНКА



1

Мужчина лет тридцати пяти в джинсах, рубашке и рыжих туфлях, ехал в маршрутном такси и смотрел в окно. С высоты дорожной развязки было видно, как по всей длине километрового моста, переброшенного через реку, переливались гирлянды огней — желтых по левой стороне от фар и красных по правой от габаритных огней автомобилей. Огни мерцали и текли сплошными потоками в вечернем сумраке.

— Привет, Максим,— услышал он и перевел удивленный взгляд на девушку, сидевшую у двери.— Только сейчас тебя заметила.

— Соня? Привет! Вот не ожидал! Какими судьбами?

— Приехала на недельку родителей навестить.

— Как поживаешь?

— Замечательно. Работаю в газете мужа. Дочери четыре года.

— Что? — переспросил он, не расслышав из-за шума обгонявшего грузовика, и бросил взгляд на соблазнительную ямочку на шее. Карезеленые глаза меняли оттенок в зависимости от падающего света и все так же притягивали. Хотелось потрогать роскошные длинные каштановые волосы. Ей доставляло невыразимое удовольствие, когда он расчесывал их гребнем. «Твои волосы, как водопад. Я хочу захлебнуться в нем»,— сказал он однажды. Она, как прежде, была хороша в умопомрачительном гламурном персиковом платье, открывающем все, что можно открыть, и изыскано подчеркивающим, то, что принято скрывать.

— Дочери четыре года уже. По-немецки лучше говорит, чем по-русски. А ты как?

— Тоже нормально. В прошлом году был на Алтае. С друзьями ездил.

— Класс! Не женился?

— Пока нет. Семья не для меня. Мечтаю еще посмотреть Байкал. Но не сейчас. Следующим летом возможно.

— В клубе бываешь?

— Да. Иногда захожу. Там все переженились, заходят редко, скучно стало,— ко-

* Наш постоянный автор; см. предыдущие номера журнала.

гда-то они с Соней были завсегдатаями клуба, где собирались любители странствий, поэзии и изотерики.

— Понимаю,— улыбнулась она. Рада была тебя видеть. Я сейчас выхожу. Может, заглянешь в гости? Я еще пару дней здесь пробуду.

— Я бы с удовольствием, но, увы, уезжаю на море,— он кивнул на сумку, стоявшую рядом с сиденьем.

— Надолго?

— На две недели.

— Ну, хорошо отдохнуть тебе, Максим. Моя остановка,— ему показалось, что в ее глазах мелькнуло сожалющее и даже чуть ли не заискивающее выражение. Неужели она тоже до сих пор не равнодушна к нему?

— Спасибо, и тебе удачи!

Он смотрел, как она уходит, растворяясь в людском уличном потоке, освещенном тусклым фонарным светом, и испытывал неодолимое желание броситься вслед, забыть про море, про работу, про все на свете. Так долго мечтал увидеть ее, и так нелепо и неоправданно легко отпустил. А может и в самом деле выйти, догнать Соню, пригласить в кафе? Нет, не стоит. Хорош же он будет с огромной сумкой. Да и нужно ли ворошить былое?..

2

...Геленджик. В парикмахерской на улице Горького девушка в короткой маечке, открывающей загорелый живот, в льнущих к стройному телу тоненьких бирюзовых брючках откинула назад спинку кресла так, что его голова оказалась над белоснежной фаянсовой раковиной, намочила волосы теплой водой из душа, мягко втерла шампунь и смыла пену, на пару секунд ласково-бесстыдно юркнув пальчиками в уши. Потом с какой-то врожденной грацией и уверенностью, взыскательно и серьезно посматривала большими черными глазами в зеркало на то, что выходило из-под ее ножниц или стрекочущей машинки, лишь иногда пересекаясь в отражении с его оценивающим взглядом. Отдал девушке деньги, сказал, что она просто супер. Она ответила «спасибо».

На улице было жарко. Полуголые розовые, белые, бронзовые и шоколадные люди группами брели с пляжа. Он остановился в тени под сосной, достал сотовый и набрал номер. Ответили не сразу.

— Привет, Оля. Как дела?

— Привет. Все нормально. А как тебе отдыхается?

— Классно. Только скучно. Ты завтра приедешь?

— Нет, не смогу. Меня просили поработать на выходные.

— Тогда, может быть, я к тебе? Мне очень нужно с тобой увидеться.

— Когда ты уезжаешь?

— В понедельник, через два дня.

— Ладно. Приезжай завтра с первым рейсом. Попробую отпроситься. Узнай расписание и перезвони через час, во сколько отходит автобус.

С этого момента он попал во власть неодолимого приятного волнения. Даже вечером, разговаривая за ужином с двумя девушками из Уфы Галей и Викой, которые делились восторгом от экскурсии с дайвингом, все время думал о предстоящей встрече.

На следующее утро Максим проснулся в половине пятого, тихонько, стараясь не скрипеть половицами, прошел мимо открытой двери соседней комнаты, где за занавеской с открытой дверью спали Галя и Вика, выпил на кухне чай с бутербродом и отправился на автостанцию. Купил билет на первый рейс. Извилистая дорога то при-

жималась к горам, то надолго вырывалась на ровное место, открывая внизу кусочек берега и море. Мотор издавал убаюкивающее дружественное урчание с приглушенным завыванием на подъемах.

* * *

Вспомнил, как познакомился с Ольгой в прошлое воскресенье в Бетте, куда отправился в воскресенье на экскурсию.

Она плавала на мелководье, потом села позагорать на мокрую глыбу возле берега, поджав под себя ноги.

— Вы похожи на русалку,— сказал он, подплыв поближе.

— Правда? — улыбнулась она.

Он заглянул в черные глаза и понял, что все его предыдущие знакомства были только предвестием этой встречи. Вьющиеся волосы шоколадного цвета касались смуглых плеч. Она представилась ему невесть откуда взявшимся облаком, парящим над землей. Максим с трудом оторвал взгляд, решив, что неприлично так рассматривать человека, которого видишь впервые.

Завязался разговор, и незаметно перешли на «ты». Девушка оказалась из Краснодара, закончила медицинский, но ни дня не работала по специальности. Приехала на море утром. Через сорок минут обратный автобус, последний рейс.

— Что читаешь? — спросил он, увидев книгу, лежавшую на ярком пляжном полотенце.

— Перечитываю. «Алые паруса» Грина.

— Нравится?

— Очень.

— Мне кажется ты какая-то... необыкновенная. Чем-то сама напоминаешь Ассоль.

— Ты хочешь сказать, что я, как и она, немного не в себе? — улыбнулась Ольга.— Очень может быть. Подруга называет меня инопланетянкой

— Нет. Я другое имел в виду,— смутился Максим.— У тебя есть какая-нибудь заветная мечта?

— С недавних пор меня преследует одно сильное желание. Я хотела бы целый день брести по пустыне до изнеможения, и ночью без сил проваливаться в сон. А наутро вставать полной бодрости и снова идти. И так много дней.

— Может быть, кто-то из твоих предков, уже шел так среди бескрайних песков, а у тебя осталось неосознанное воспоминание.

— Я тоже думала об этом. Мы десять лет назад переехали на Кубань из Казахстана, где жили на берегу Каспийского моря. Фантастическое место! Помню, залазили на крышу нашего пятиэтажного дома. Оглядываешься вокруг — с трех сторон — синее море, и горизонта не видно! А с четвертой — желтая пустыня, тоже непонятно, где горизонт. И горячий ветер в лицо! Я тогда впервые услышала «Энигму», меня так встало! Эта музыка очень подходит к тем просторам.

Оказалось, Ольге тоже нравится поэзия серебряного века. Вспомнили несколько цитат из Брюсова, Волошина и Блока. Договорились встретиться здесь же на следующие выходные. Не получилось...

* * *

За окном проносились тополя с побеленными у основания стволами, опрятные домики кубанских станиц, засеянные пшеницей и подсолнечником поля и нефтяные качалки. Чем меньше расстояние оставалось до Краснодара, тем больше Максим испытывал волнение.

Автобус прибыл раньше. Максим не нашел ее в толпе перед автовокзалом и позвонил. Она ответила, что едет в троллейбусе, будет через пятнадцать минут. Купил три свежесрезанных алых розы с капельками влаги на лепестках, стал ждать. Увидел ее первым и подошел совсем близко, прежде чем она заметила его, скользя взглядом вдаль, поверх мелькающих голов. Она улыбнулась, обняла его крепко, и он ощутил на губах поцелуй, скорее дружеский, чем страстный. Но это было уже неважно. Ему позарез хотелось увидеться с ней, мечта сбылась, и сразу стало непривычно легко.

Они едут на троллейбусе. Идут от остановки к ее дому.

— Очень похоже на наш город. Как будто никуда и не уезжал,— заметил Максим.— Давай зайдем в гастроном купим чего-нибудь..

— Вот неплохой супермаркет.

Они проходят с пластмассовой корзиной и букетом роз в торговый зал, останавливаются сначала около полок со спиртным.

— Ты какое вино предпочитаешь — белое или красное?

— Все равно.

— Может, что-нибудь покрепче?

— Нет, я не люблю крепкие напитки.

— Тогда — шампанское?

— Хорошо.

— А какое?

— Все равно. На твой вкус.

— Тогда вот это, Абрау-Дюрсо полусладкое.

Потом еще взяли ветчины, колбасы, сыра, готовых салатов в пластмассовых коробочках.

Поднялись на пятый этаж нового девятиэтажного дома, долго петляли по длинным темным коридорам. Наконец, остановились перед металлической дверью зеленого цвета.

— Вот здесь я живу с мужем,— сказала она и с лукавой улыбкой взглянула на него.

— Ты замужем?

— Нет. Я пошутила. Проверяла твою реакцию.

Он понимающе улыбнулся. «Ну и шуточки!»

Она открыла дверь и впустила его первым.

— Извини, у меня ремонт.

— Ничего, это знакомо. У меня он целый год длился.

— Обуй тапки.

Тапочки были мужские.

— Спасибо, я так. Жарко,— он испытал легкий укол ревности.

Она показала кухню. Здесь стояли газовая плита с колонкой, небольшой холодильник, складной стол и пара табуреток. Потом провела в комнату. В ней — раскладывающийся диван ближе к окну и шкаф в противоположном углу. Обои не наклеены в одном месте. Ольга опустила розы в вазу из оранжевого, сверкающего на солнце стекла, наполнила водой и поставила на подоконник. На стене висело на гвоздике огромное сомбреро.

— Это подруга из Испании привезла,— сказала она, заметив его взгляд.

— У тебя уютно и чисто.

— Правда? Спасибо. Давай перенесем стол сюда.

— А, может, лучше на кухне?

— Нет, там обстановка не подходящая...

— Как скажешь...

— Теперь можешь принять ванну. После дороги приятно освежиться. А я пока приготовлю завтрак. Вот, возьми полотенце.

— Спасибо.

Он закрыл дверь, разделся, оценивающе осмотрел в зеркало свое загорелое тело с белой «разделительной» полосой, словно бы удивляясь, как очутился здесь да еще в таком виде, и включил душ.

Можно было осмыслить первое впечатление от встречи. Итак, она, несомненно, взволнована, рада его видеть, но в то же время держит некую дистанцию официальной дружеской встречи, как будто ее что-то сдерживает. Расчитывать на сближение не приходилось, но, странное дело, он и не чувствовал, что хочет этого. Во всяком случае, сейчас. Девушки никогда особенно не вешались ему на шею. Не вздыхали издалека. А может, они делали это незаметно?

Максим неторопливо облился теплым душем, намылился душистым мылом, которым пользовалась Ольга. Не спеша, смыл пену, вытерся, оделся, причесался перед запотевшим зеркалом и вышел из ванной. Стол в комнате был уже накрыт. Они сели напротив. Выпили шампанского за встречу. Он ощущал бесконечное удовольствие оттого, что видит ее лицо, улыбку, черные глаза, в которых под блеском радушия угадывалась сдержанная страстность.

Она рассказала о своей работе в торговой фирме, он о своей.

— Слушай, Максим, у меня такое чувство, будто видела тебя раньше. Я не могла с тобой пересечься где-то?

— Мне тоже кажется, будто я тебя уже видел. Но не могу вспомнить где. Впрочем, если бы это произошло, я бы точно запомнил.

— Предлагаю тебе отдохнуть, ты наверно устал с дороги, а потом пойдем прогуляться по городу. Поспи на диване. А я пока уберу со стола.

— Не будем терять времени. Пойдем гулять.

День выдался жаркий. В раскаленном безветренном воздухе было трудно дышать. Они отправились на маршрутке в торговый центр «Красная площадь», чтобы переждать полуденное пекло. Долго бродили по мебельной ярмарке, наслаждаясь прохладным кондиционированным воздухом. Почему-то вдвоем было особенно приятно разглядывать огромные итальянские кровати с помпезными резными изголовьями, затейливые комоды, прихожие и даже коврики для ванной. У них во многом совпадали вкусы, и казалось, что они выбирали будущие покупки для себя, как будто собирались жить вместе. Может, так оно и было, только они еще об этом не догадывались. Говорят, магнитное поле будущего иногда каким-то странным, фантастическим, причудливым образом проявляется в настоящем.

Потом гуляли по тенистой улице Красной, где старинные здания гармонично сочетались с современными, а сквер поражал ухоженностью, подстриженными газонами и цветочными клумбами. Зашли в огромный зал Дома книги. Полистали несколько томиков в отделе поэзии. Спросили у девушки, нет ли Брюсова или Волошина. Оказалось, их давно не завозили.

На улице Максим хотел закурить, но вспомнил, что оставил зажигалку в пляжных шортах. В первом же табачном магазинчике купил новую — изящную перламутрового цвета, которую выбрала Ольга. Ему было приятно пользоваться вещицей, которая понравилась ей. Он с удовольствием время от времени нащупывал в кармане гладкий металл зажигалки.

В прохладном, темном полупустом кафе заказали по коктейлю со льдом и мороженого. Он снова закурил. Ольга, поддавшись, наверное, какому-то искреннему порыву, протянула через стол навстречу ему руки ладонями вверх. Он в первый момент не понял жеста, потом догадался и положил свои ладони на ее. Она нежно сжала их.

— Какие теплые... Ты будешь меня вспоминать?

— Теперь даже если бы захотел забыть — не смог бы, — улыбнулся он. — А ты меня?

Она ничего не ответила, только ласково посмотрела в глаза. Скучающие девушки-официантки бросали на них любопытные взгляды из-за стойки бара.

Вечером она проводила его на автостанцию.

— Если хочешь, можешь переночевать у меня,— неожиданно предложила Ольга, когда они подходили к кассе, и, чуть смутившись, добавила.— У меня есть раскладушка.

— Спасибо, я уже настроился уезжать.

Он крепко обнял и поцеловал ее на прощание и попросил сразу уйти, не ждать, пока автобус отправится. Потом смотрел из окна на удаляющуюся стройную фигуру. Ольга так и не оглянулась...

Когда Максим добрался в Геленджик, уже стемнело. Он решил поужинать и встретился на кухне с подружками из Уфы, которые варили борщ.

— Ну, как, Макс, встретился со своей с девушкой? — спросила Галя.

— Да, все прошло замечательно,— ответил Максим, доставая из холодильника сосиски.— А вы где сегодня были?

Они наперебой стали рассказывать про конную экскурсию в горы, как там было красиво, и что Вике досталась лошадь без седла.

— Мне теперь трудно ходить, и целую неделю мужчина не будет нужен,— пошутила она.

Поужинав, Максим вымыл посуду и отправился в душ. Вода в баке была еще теплая. Ополоснулся и начал бриться перед маленьким зеркальцем, висевшим на обложенной белой керамической плиткой стене. И в этот момент вдруг понял, откуда у него и Ольги появилось чувство, будто они уже встречались. Скорее всего, их сбило с толку смутное воспоминание о собственном отражении в зеркале. Определено, у них похожи какие-то черты лица и что-то еще неуловимое, что пока не мог выразить словами. Он долго еще не мог уснуть, пока, наконец, не сформулировал для себя весьма приблизительно, что, может быть, на них наложила печать привычка к независимости и напряженный внутренний поиск своего пути.

3

Обмен сообщениями с Ольгой по «аське», когда на работе выдавалась свободная минута, стал для Максима ежедневной потребностью и настоящим удовольствием. Он заметил, что ее даже чисто умозрительные замечания окрашены чувством. Она присылала редкие по красоте стихи, которые находила в интернете, рассказывала о том, что происходит на работе, где бывает, что интересного случилось, сообщала о погоде. В Краснодаре еще было тепло и солнечно, когда в их городе уже зарядили холодные осенние дожди. Перед ноябрьскими праздниками Ольга пригласила Максима в гости на три выходных дня. Он согласился, даже поговорил с ней о планировавшейся поездке по телефону. Но в последний момент сдал уже купленный билет на поезд, отключил сотовый и просидел все три дня дома. Он подумал, зачем морочить голову девушке, с которой его разделяет такое большое расстояние и целая пропасть лет, и вообще, пора реально взглянуть на себя. Он всегда будет любить только одну женщину — Соню.

— Макс, почему ты не выходишь на улицу,— забеспокоилась мать.— Уж не заболел ли?

— Нет, мама, все в порядке, просто я хочу побыть один и ото всех отдохнуть.

Наутро после праздников он честно признался Ольге, почему не решился приехать, она написала, что зря, она очень ждала и беспокоилась, не случилось ли чего. Странно, но от ее укоризненных слов, Максиму стало стыдно, и в то же время необыкновенно хорошо, он впервые за долгие годы ощутил, что нужен кому-то.

Соня показалась теперь такой далекой и чужой, и сама собой пришла в голову мысль, а не признак ли это некой душевной лени — верно и ревностно хранить любовь к человеку, который в ней не нуждается. Кому нужна эта пустая трата времени и сил?..

4

Тридцатого декабря в последний рабочий день Максим написал:

«Мы можем встретить вместе Новый год?»

«Не знаю. Вообще-то меня уже пригласила подруга в свою компанию. Не хочется остаться одной, если ты вдруг снова передумаешь».

«А может, приедешь ты? Познакомлю тебя со своей мамой. Отметим втроем».

«Вдруг я ей не понравлюсь? У всех троих будет испорчен праздник».

«Уверен, что понравишься».

«Я не готова. Да и наверняка уже нет билетов на поезд. Давай лучше до следующего раза».

«Эх! Так хотелось тебя увидеть».

«Я тоже скучаю...»

Максим подумал, что это была просто вежливая отговорка, и не стал больше настаивать. Временами Ольга казалась такой же ветреной, как и все девушки, но, как ни странно, и эта черта в ней нравилась ему. А стало быть, легко понравится другим. Наверняка она познакомится у подруги с каким-нибудь молодым человеком, и забудет о нем. А, может быть, уже кто-то появился. Ну что ж, пожалуй, так будет лучше, ему не привыкать...

Максим поздравил Ольгу с наступающим Новым годом, а в список пожеланий совершенно искренне включил счастье и любовь, хотя уже не особенно верил, что они будут иметь к нему какое-нибудь отношение. А Ольга пожелала, чтобы исполнились все его желания, и сбылась хотя бы одна мечта. Максим стал думать, какие у него сейчас желания и мечты, и вдруг понял, что все они связаны с одним именем — Ольга.

Он влюблялся в разное время в разных женщин до беспамятства, но то, что он испытывал к каждой из них, ничем не отличалось, разве только продолжительностью и разрушительными или наоборот очистительно-возвышающими последствиями. Казалось, что каждая новая любовь происходила из одного и того же неиссякаемого источника, и, как только рождалась, заслоняла все прочие увлечения и предметы страсти. Можно было подумать, что он влюблялся в одну и ту же женщину, появляющуюся в разное время на жизненном пути

Всякий раз, когда женщина уходила, ему хотелось найти в точности такую же, но которая любила бы его... А что если все дело в том, что он привык олицетворять себя с героями книг или просто неосознанно мечтал ощущать себя героем, которому, как Дон Кихоту, важнее любить самому, чем быть любимым, или, скажем, полностью отдаваться работе, не думая, сколько за нее платят. Мечта героя сбылась — ему не везло в любви и не раз обходили с повышением. А ведь зарплата, на которую ты соглашаешься, в сущности, тоже своего рода мера любви к себе. «Хотя, пожалуй, в этом вопросе не все так однозначно», — попробовал он найти аргументы оправдания. — Например, если работа доставляет удовольствие»

5

До Нового года оставалось всего ничего, а настроение у Максима оставляло желать лучшего. Он знал наперед, что новогодние ожидания никогда не сбываются, и

все надежды на волшебные перемены, которые почему-то должны происходить при смене одного календаря на другой, оказываются иллюзорными. Он представил, как Ольга сейчас веселится в гостях у подруги и не подозревает, что ему тоскливо. В голове прокручивалась одна и та же песенка «вспоминаю-умираю черные глаза». С седьмого этажа маленькие фигурки запоздалых прохожих казались особенно бесприютными и замерзшими. А в зале было тепло, как в детстве, поблескивала игрушками невысокая елка, распространявшая запах хвои, мелькал экран телевизора.

— Максим, опять мы отмечаем праздник вдвоем. Почему бы тебе было не пойти к друзьям или не пригласить подругу?

— Мама, все друзья женаты, с ними невыносимо скучно, а подруга далеко. Новый год — это семейный праздник, ты же сама говорила.

— У меня все готово, Макс, давай садиться за стол. Скоро новогоднее поздравление президента.

— Да, мама, иду, — в это самое время в дверь позвонили. — Странно, кто бы это мог быть?

Открыл дверь. На пороге стояла Ольга, вся запорошенная снегом, с дорожной сумкой в руке.

— Кажется, успела, — улыбнулась она.

— Как здорово, что ты приехала! Проходи, — казалось, мир снова вспыхнул и заискрился разноцветными огнями, словно свежий сугроб под фонарным столбом. — Что же ты не позвонила? Я бы встретил.

— Представляешь, забыла дома сотовый телефон. Выяснилось это уже в дороге. Ни подругу предупредить, что не приду, ни тебе сообщить, что приеду... Ты не поверишь, проснулась сегодня среди ночи и поняла, что, если не увижу тебя, Новый год будет безнадежно испорчен. Оделась, собрала вещи, поехала на вокзал, в пять утра села на отходящий поезд... — и оба задохнулись от поцелуя, прервавшего ее рассказ.



Геннадий Маркин
(г. Щекино)



ОБВИНЯЕМЫЙ ТОЛСТОЙ

К вечеру на территорию Тульской земской больницы въехала повозка. Сидевший в телеге извозчик, бородатый лет пятидесяти крестьянин, с силой потянул на себя вожжи.

— Тпру-у-у,— остановил он взмыленную от долгого и быстрого бега и отфыркивающую лошадь.— Беги, Микитка, зови лекаря,— проговорил он, обращаясь к сидевшему здесь же в телеге мальчику лет десяти и тот, лихо, спрыгнув на землю, скрылся за большой обитой коричневым дерматином дверью.

Извозчик повернулся через плечо и взглянул на лежавшего в телеге на соломе крестьянина, лицо которого было бледным, зрачки полузакрытых глаз закатились за лоб, нос заострился. Свалявшиеся на голове волосы были испачканы кровью, а из-под усов и броды раздавалось едва слышимое хриплое и редкое дыхание. Извозчик перекрестился, что-то пробормотал себе под нос и слез с телеги. Скрипнув дверью, из больницы вышли доктор, мальчик, а вслед за ними двое санитаров с носилками. Подойдя к телеге, доктор, высокий худощавый на вид не более сорока лет, с аккуратной бородкой и усами, приподнял тонкое лоскутное одеяло, которым был укрыт лежавший на соломе крестьянин и, увидев набухшую от крови рубашку, повернулся и строго взглянул из-под очков на извозчика.

— Ну-с, что с ним случилось? — спросил он.

— Бык яво забрухал, господин лекарь,— ответил крестьянин и, сняв кепку, вновь перекрестился.— Видать скоро ко Господу отойдет.

— Быстро несите его в операционную,— распорядился доктор, обращаясь к санитарам, а затем вновь взглянул на крестьянина.— Кто вы и откуда привезли больного?

— Крестьяне мы из сельца Ясная Поляна. Меня кличут Семеном, а это сын мой младшенький — Микитка,— указал извозчик на мальчика.

— Как зовут больного? — вновь спросил доктор.

— Матвеем кличут, Афанасьевым, сын Васильев.

— Семейнин? — спросил доктор, поправляя очки.

— Да семейнай. Бабу яво Домной кличут, а детишек у их полон двор.

— М-да,— задумчиво произнес доктор.— Чей же бык его покалечил?

— Графской. Надьсь и брата евонова, Ивана, тоже брухал. Насилу отогнали, а то, как и Матвея досмерти закатал бы. Буйная скотина,— проговорил Семен, махнув при этом рукой.

— Ну-с, вы поезжайте, а мне пора. Уже, поди, уложили его,— проговорил доктор.

Семен взял из телеги охапку окровавленной соломы и бросил ее на землю. Затем снял кепку и поклонился доктору.

— Прощевайте, господин лекарь,— произнес он, вновь надевая кепку.— Садись, Микитка, поехали домой,— проговорил он, обращаясь к сыну и влезая в телегу.—

Но-о-о, пошла,— прикрикнул он на лошадь, слегка подстегивая ее вожжами. Вскоре телега выехала за ворота больницы.

Проводив их взглядом, доктор взглянул на брошенную окровавленную солому и быстрым шагом направился в операционную. Спустя час, он вернулся в свой кабинет-ординаторскую и вызвал больничного писаря.

— Пишите, любезнейший, справку,— проговорил он, после того, как писарь, молодой парень, недавно окончивший губернское реальное училище, сел за стол и взял в руку перо.— Сего двенадцатого июля одна тысяча восемьсот семьдесят второго года в больницу был доставлен в крайне болезненном состоянии яснополянский крестьянин Матвей Афанасьев, который в сей же день, преставился. Ближайшей причиной смерти крестьянина Афанасьева стали оказавшиеся у него переломы одиннадцати ребер и другие, безусловно, смертельные повреждения органов грудной полости, которые он получил при забрухании его до смерти быком,— при этих словах доктор замолчал и, сняв очки, стал тщательно протирать их белым носовым платком.

— При забрухании его до смерти быком, а дальше что писать? — прервав молчание, спросил писарь.

— Дальше?— переспросил доктор.— Все, ставь точку.

— Тогда руку приложите,— попросил писарь, протягивая доктору справку.

— Да, да, конечно,— кивнул тот и поставил на справке свою размашистую подпись.

Безжалостно палящее солнце ненадолго спряталось за белые кучевые облака, но это не спасало от жары. Управляющий делами яснополянского имения Алексей Орехов спрятался в тень и спиной прижался к башенке у въездных ворот. От камней потянуло приятной прохладой. Со стороны Большого пруда слышались водные барахтанья, голоса людей, визг детворы. Хозяин имения купался вместе с крестьянскими детьми, когда мимо башенок на территорию усадьбы вошли двое мужчин. Они подошли к Орехову.

— Я судебный следователь Богословский,— представился один из них, тот, что был моложе по возрасту.— А это полицейский исправник Федотов,— представил следователь своего путника.— Нам нужен граф Толстой, проводите нас к нему,— распорядился следователь.

Вытерев наспех полотенцем мокрое тело, огорошенный неожиданным визитом следователя и исправника, Толстой пригласил гостей на террасу.

— Я судебный следователь Богословский, а это полицейский исправник Федотов,— вновь представил себя и своего путника следователь.

— Я знаю господина исправника, мы с ним знакомы по работе в Крапивне,— проговорил Толстой, и после его слов исправник, подтверждая сказанное Толстым, кивнул.— Вас же, юноша, я знать чести не имею. Не соизволите ли назвать свое сословие и кто будут ваши родители? — спросил Толстой, внимательно рассматривая худое и бледное лицо следователя.

— Я судебный следователь Богословский,— недовольно повторил тот, уклоняясь от подробного рассказа о себе.

— Ну-с, и что же вас привело ко мне, уважаемые господа? — спросил Толстой.

— Мы пришли допросить вас, Лев Николаевич, по случаю смертельного забрухания вашим быком крестьянина Афанасьева,— проговорил следователь, раскладывая на столе бумажные листы и доставая из портфеля чернильницу и перо.

— Ну, что же, спрашивайте, я к вашим услугам,— произнес Лев Николаевич.

— Ваше имя, фамилия, отчество? — задал первый вопрос следователь.

— Лев, Николаевич, Толстой.

— Ваше сословие? — спросил следователь, аккуратно записывая в протокол показания Льва Николаевича и не поднимая на него головы.

— Граф, поручик артиллерии,— ответил Толстой.

— Законных ли вы родителей сын? — задал вопрос следователь, от которого на Льва Толстого нахлынуло чувство негодования.

— Да, рожден от законных родителей в сельце Ясная Поляна Крапивенского уезда. Крещен, веры Православной, сорока шести лет, женат, имею шестерых детей и орден Святой Анны четвертой степени, под судом не был,— с трудом сдерживая гнев, резко отвечал Толстой, буравя взглядом из-под бровей аккуратно стриженную и склонившуюся над протоколом голову следователя.

— Что вы можете рассказать по поводу забрухания быком крестьянина Афанасьева? — не реагируя на недовольный тон Толстого, задал очередной вопрос следователь.

— Я ничего не могу объяснить по этому вопросу. Это произошло в мое отсутствие,— ответил Толстой.

— Насколько мне известно, этот ваш бык ранее уже не раз бросался на людей,— то ли задал вопрос, то ли констатировал факт следователь.

— Да, молодой бык уже брухал водовоза крестьянина Ивана Афанасьева, родного брата умершего Матвея Афанасьева,— кивнул головой Лев Николаевич.— Сам я лично хозяйскими делами не занимаюсь, ими занимается мой управляющий Алексей Степанович Орехов, который должен был, если сделалось известным, что бык опасен, или сам принять какие-либо меры против него, или же доложить об этом мне.

— После того, как бык побрухал водовоза, какие применялись меры предосторожности от этого быка?

— Да, я приказывал принять против быка меры предосторожности и наказывал всячески наблюдать за ним. У меня дети часто гуляют около стада. Я думал и был уверен, что эти приказания в точности исполняются к этому быку.

— Скажите, Лев Николаевич, а где сейчас находится этот бык? — следователь оторвал взгляд от протокола и посмотрел на Толстого.

— В настоящее время он находится на привязи.

Следователь, аккуратно выводя буквы, дописал протокол допроса и дал прочесть его Льву Николаевичу, а затем протянул ему еще один документ.

— Будьте так любезны, граф, подписать и этот документ,— холодно вежливо проговорил он.

— Что это? — спросил Толстой, беря из рук следователя документ и вчитываясь в его текст.

— Это решение о возбуждении уголовного дела по факту ненадлежащего содержания животных, повлекшего смерть человека и обязательство впредь до окончания дела не покидать пределов Ясной Поляны.

— Это что, домашний арест? — удивленно спросил Лев Николаевич.

— Нет, это всего-навсего подписка о неотлучении с места жительства впредь до окончания дела,— уточнил следователь.

— А если я откажусь подписывать?

— Если не подпишете, граф, то вас могут взять под стражу,— вместо следователя ответил молчавший до этого исправник, вновь вытирая носовым платком вспотевший лоб.

Толстой внимательно посмотрел на исправника, затем перевел взгляд на следователя.

— Ну что же, коли так обстоит дело, то я подпишу,— вздохнув, проговорил он и, обмокнув в чернильницу перо, расписался.

После того как визитеры ушли, Лев Николаевич вызвал управляющего именем Орехова.

— Вот что, Алексей Степанович, вы поезжайте сейчас же в Пирогово, там нахо-

дится приехавший с Кавказа на отдых муж моей свояченицы Александр Михайлович Кузминский. Скажите ему, не соизволит ли он приехать ко мне? Скажите ему, что он мне сейчас крайне необходим.

Александр Михайлович Кузминский состоял в браке с Татьяной Андреевной Берс, родной сестрой Софьи Андреевны, уже около десяти лет. Жили Кузминские в городе Кутаиси, где Александр Михайлович занимал пост прокурора Кутаисского окружного суда и, как считал Толстой, мог бы помочь ему советом в сложившейся для него неприятной ситуации. Дело в том, что Толстому вскоре предстояло выехать в город Крапивну на выездную сессию Тульского окружного суда в качестве присяжного заседателя, но данная им подписка о невыезде юридически запрещала Толстому это делать. А потому Лев Николаевич был в замешательстве и не знал, как ему поступить. Узнав от Орехова о происшествии, случившемся в Ясной Поляне, Кузминский немедленно выехал к Толстому.

— Вы, уважаемый Александр Михайлович и представить себе не можете, до чего я рассержен и взволнован в эти дни, — возбужденно проговорил Толстой, как только Кузминский к нему приехал. — Я раздражен так, что болен физически и нравственно и не могу ни о чем думать, кроме того, как о том, за что мучают человека, который всех оставил в покое и только об одном просит, чтобы и его оставили в покое.

— Не волнуйтесь вы так, уважаемый Лев Николаевич, все образуется, — успокаивая Толстого, проговорил Кузминский.

— Да как же не волноваться?! Приезжает какой-то юноша, говорит, что он следователь, спрашивает меня: законных ли я родителей сын?! — эмоционально проговорил Толстой. — Объявляет мне, что я обвиняюсь в действии противозаконном, от которого произошла смерть, и требует, чтобы я подписал бумагу, что не буду выезжать из Ясной до окончания дела.

— Вы подписали постановление? — улыбаясь, спросил Кузминский.

— Я долго колебался подписывать или не подписывать это постановление о домашнем аресте, но следователь сказал, что если я не подпишу, то меня посадят в острог. Мне ничего не оставалось делать, как подписывать, — развел руками Лев Николаевич.

— Правильно сделали, что подписали, — проговорил Кузминский. — А по поводу заданного вам вопроса о том, законных ли вы родителей сын или не законных, не обращайтесь на это внимания. Следователь всего лишь выполнял требования уголовно-процессуального закона.

— Скажите, Александр Михайлович, а долго ли продлится это мое домашнее заточение?

— По закону товарищ прокурора в неделю срока должен закончить дело, то есть прекратить его или составить обвинение, — ответил Кузминский.

Прошло три недели, но дело по обвинению Льва Толстого из Крапивны в Тулу товарищу прокурора отправлено не было. Он по-прежнему не мог покидать пределы своей усадьбы. А тем временем пришло время для выезда в Крапивну на выездное заседание Тульского окружного суда. «Ехать ли мне на заседание или не ехать? Если я поеду, то нарушу данную мною подписку о неотлучности. Если не ехать, то получу штраф за неявку в судебное заседание», — терзался Толстой сомнениями. Наконец, не придя к какому-либо решению своего вопроса, он решил обратиться письменно за разъяснением к председателю Тульского окружного суда Николаю Ивановичу Янгу. Вскоре от Янга пришел ответ, что Толстой будет юридически прав, не езда на заседание. Граф так и поступил. Он остался в Ясной Поляне и написал в суд сообщение, что он не может приехать, так как находится под следствием. Не разобравшись в обстоятельствах дела, суд оштрафовал Толстого и официально потребовал от него лично приехать на заседание, иначе он будет предан суду.

Пройдясь напоследок остывающим красным закатом над усадьбой, крестьянскими деревенскими избами, осветив золотые купола Свято-Никольского Храма и могильные кресты Кочаковского погоста, солнце медленно закатилось за горизонт. Ночью неожиданно поднялся сильный ветер и пошел дождь, который под шквальным порывистым ветром бил своими холодными струйками в окно, стучал по подоконнику, барабанил по железной крыше флигеля, грязным ручьем бежал вниз по «прешпекту» и стекал в Большой пруд, где растворялся в недовольно бурлящей и вздувающейся пузырями темной мутной воде. Озарив на мгновение яркой вспышкой черное ночное небо, вспыхнула и погасла молния и в тот же миг, оглушая округу оглушительным раскатным грохотом из поднебесья, разразилась гроза. Льву Толстому не спалось. Он лежал на своей кровати, прикрыв глаза и не зажигая огня. «Что за дурацкие законы? Такая в них путаница, что подчас не знаешь как и поступить?! Не поеду на заседание — предадут суду, поеду — нарушу данную мною подписку о неотлучности, и тоже предадут суду. И так и эдак все одно буду виновен. Что за нелепица? Что они все от меня хотят? Кому я сделал что-то плохое? Уеду. Брошу все, продам имение и уеду куда-нибудь в Англию, куплю дом и буду жить спокойной жизнью»,— мысленно рассуждал он. Уже ближе к утру, когда яркие всполохи молний потеряли свою ослепительную силу, а гроза напоминала о себе далекими глухими раскатами, под тихий шум ослабевшего дождя, откуда-то из темного угла комнаты к Толстому подкрался и овеял своими колдовскими чарами крепкий и глубокий сон.

Утро выдалось солнечным и спокойным. Ночной дождь, порывистый ветер, изрядно прополоскавшие усадьбу, посшибали ветки и мелкие листья с деревьев, которые лежали на мокром, с комьями грязи по обочинам, «прешпекте». Толстой велел подавать извозчицью пролетку и когда лакей доложил, что она готова, он, не притронувшись к поданному ему завтраку, и махнув рукой на подписку о невыезде, отправился в Тулу в окружной суд, лично к его председателю Янгу.

— Николай Иванович, я возмущен неразберихой, нелепицей и волокитой, связанными с моей неявкой в суд присяжных,— начал он с порога, как только вошел в кабинет Янга.— Вы мне пишете, что я буду юридически прав не едзя на заседание, а суд накладывает на меня штраф и требует, чтобы я явился, иначе предаюсь суду,— с возмущением проговорил Лев Николаевич.

— Лев Николаевич, дорогой, я понимаю ваше возмущение. Но и вы войдите в наше положение. Так сложились обстоятельства, что закон в вашем случае получился двояким. Наложение на вас штрафа незаконно и оно будет отменено. Случившееся с вами — это скорее исключение из правил, нежели сами правила.

— О каких исключениях из правил вы, уважаемый Николай Иванович, ведете разговор, если на суде товарищ прокурора публично заявляет, что я не могу быть присяжным, потому, что обвиняюсь в преступлении по статье одна тысяча четыреста шестьдесят шестой, то есть в убийстве?! Вы понимаете, как это неприятно?!

— Да, я вас понимаю,— кивнул головой Янг и, встав из-за стола, подошел к Толстому.— Лев Николаевич, дорогой мой, вы же сами прекрасно понимаете, что высказывание товарища прокурора — это не что иное, как маленькие несовершенства, свойственные человечеству. Да вы не стойте, Лев Николаевич, присядьте, присядьте, я сейчас распоряжусь насчет чая,— проговорил Янг, предлагая Льву Николаевичу присесть в кресло, а затем взял со стола медный колокольчик и начал им звонить.

— Я представляю, какое доставляет удовольствие этим господам забавляться мною,— вздохнув, проговорил Толстой, усаживаясь в обитое черной кожей мягкое кресло.

— То, о чем вы поведали мне, не более, чем формальности, соблюдение закона. Я от имени окружного суда и от себя лично приношу вам, уважаемый Лев Николаевич,

свои добросердечные извинения,— проговорил Янг, слегка склонив перед Толстым голову.

— Я продам все, что имею в России, и уеду в Англию. Поселюсь сначала около Лондона, а потом выберу красивое и здоровое местечко около моря, где бы были хорошие школы и куплю дом и земли,— махнул рукой Толстой.

— Полноте вам, Лев Николаевич, вы же не сможете жить без России, без Ясной Поляны,— улыбаясь, проговорил Янг.

— Да, уважаемый Николай Иванович, без своей Ясной Поляны я не могу представить себе Россию, а без России себя,— вздохнув, проговорил Лев Николаевич и, опустив голову, замолчал.

В это время дверь открылась, и в кабинет вошел секретарь Янга, молодой лет двадцати парень с аккуратным пробором в прическе.

— Андрюшенька, голубчик, сделай нам с Львом Николаевичем чай, а потом пригласи ко мне прокурора,— распорядился Янг. Секретарь кивнул головой и вышел из кабинета.— Хороший юноша, исполнительный,— высказал Янг Льву Толстому мнение о своем секретаре, усаживаясь за обитый зеленым сукном рабочий стол.

Прокурор Тульского окружного суда сорокалетний Эдуард Яковлевич Фукс пришел спустя десять минут. Войдя он, как и секретарь, стал, словно по стойке смирно в ожидании разговора.

— Эдуард Яковлевич, любезнейший, в имении графа Толстого, в Ясной Поляне, произошел несчастный случай. Там бык забрухал до смерти крестьянина. В настоящее время судебный следователь проводит в отношении графа следственное дело и вынес ему подписание о неотлучении. Мое мнение таково, что следователь ошибся. Я прошу вас, Эдуард Яковлевич, прекратить в отношении Льва Николаевича Толстого следственное дело, а провести его по отношению к управляющему делами, потому что именно управляющий делами занимается в имении графа Толстого хозяйственными нуждами. А самого же графа я полагаю можно освободить от обязанности, не отлучаться из своего имения,— проговорил Янг и взял с небольшого серебряного подноса стоявший в подстаканнике стакан с чаем.— Ну-с, дорогой мой Лев Николаевич, надеюсь, все ваши неприятности закончены,— произнес он, обращаясь к Толстому и, взяв из вазы небольшой кусочек сахара, положил его себе в рот, затем с удовольствием отпил немного чая.— Люблю пить чай вприкуску,— по-приятельски улыбнулся он Толстому.

— Прошу учесть, господа, что мой управляющий делами Алексей Степанович Орехов человек в своем деле опытный, служит у меня не один год, и все мои указания выполнял. В том числе и по этому быку. Я сам видел, как он надел быку на рога деревянную колодку.

— Хорошо, хорошо, Лев Николаевич, мы во всем разберемся,— произнес прокурор.

Допив чай и поблагодарив Янга, Лев Толстой выехал к себе в имение, по закону, он еще продолжал находиться под домашним арестом.

Обласкав теплым сентябрьским ветерком разнотравья Калинового луга, и надев на деревья красивые желто-красные наряды, в Ясную Поляну пришла осень. В имении графа Толстого все было готово к сбору урожая.

Пройдя вниз по «прешпекту» Лев Толстой остановился и, присев на берегу Большого пруда, стал смотреть, как по покрывшейся рябью водной глади, словно кораблики ветерок гонял первые опавшие листочки. Его внимание привлек конский топот и шум голосов, раздавшийся от въездных башенок. Вскоре от башенок к Толстому в окружении его прислуги подошел пристав второго стана Крапивенской городской полиции. Поздоровавшись с графом, он извлек из портфеля лист бумаги и, кашлянув в кулак, прочел: «Сего сентября двадцатого дня одна тысяча восемьсот

семьдесят второго года распоряжением господина товарища прокурора объявляется вам, граф Лев Николаевич Толстой, что вы освобождаетесь от обстоятельства неотлучения с места жительства, взятого с вас по поводу о забрухании до смерти вашим быком крестьянина Афанасьева, так как должен сообщить вам, граф, что по опросу крестьян сельца Ясная Поляна выяснилось, что крестьянин Матвей Афанасьев двенадцатого июля одна тысяча восемьсот семьдесят второго года, в честь празднования Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, употребил спиртное и, находясь под его воздействием, принялся дразнить быка и запустил в него палкою, тот и накинулся на него. То есть смерть Матвея Афанасьева наступила по его же собственной глупости, а посему в этих обстоятельствах товарищ прокурора заявил, что он отказывается от обвинения управляющего делами вашего имения Алексея Степановича Орехова». Уже на следующее утро Толстой выехал в Крапивну к председателю Крапивенской уездной земской управы Игнатову с прошением на имя губернатора Тульской области Арсеньева об освобождении его от должности участкового мирового судьи Крапивенского уезда.

— Я напишу представление от имени земского собрания о вашем освобождении, но вы же, Лев Николаевич, сами понимаете, что прошение о своем увольнении вы должны ходатайствовать через местный съезд мировых судей,— проговорил Игнатов, после того как внимательно изучил прошение Толстого и отложил его в сторону.— Позвольте полюбопытствовать, любезнейший Лев Николаевич, а что же послужило причиной вашей отставки?

— Нахождение меня под следствием и несостоятельность наших судов,— ответил Толстой.

— Позвольте?! — Игнатов неумело изобразил на своем лице удивление.

— Пожалуйста. Я неоднократно посещал судебные разбирательства и пришел к мнению, что наши суды выносят приговоры без учета морально-нравственных обстоятельств дела. Меня возмутил оправдательный вердикт суда присяжных по делу об убийстве девкой нечестного поведения своего мужа — старого и некрасивого вдовца, которому в упрек она ставила только то, что он был сопливый. И изумил обвинительный приговор цирюльнику, который зарубил топором свою жену — развратного поведения женщину, которая пришла домой под утро полупьяная и заявила мужу, что была у любовника. Цирюльник был обвинен в сильнейшей мере без смягчающих обстоятельств,— резко проговорил Толстой.— Наша система привлечения к уголовной ответственности, при которой по случайному обвинению и из-за проволочек судебных чиновников есть риск оказаться и сгнить в остроге,— вздохнув, подытожил он.

— Но ведь во всех странах мира существуют судебные ошибки и имеются отклонения. Покамест они не изжиты и у нас,— попытался возразить Толстому Игнатов.

— Если исполнитель закона имеет право на волос отклониться от него, то закон не есть ограждение, а бедствие. Уклонение всеми принятое, вошедшее в обычай, есть не умаление, а уничтожение закона. Вора следует наказывать, может быть, одним годом тюрьмы, а он уже просидел три. Ужасно, что легче жить в Турции, где мой револьвер мне судья, но нельзя жить в России, где нас уверяют, что мы обеспечены законом,— тихим голосом и с расстановкой слов, произнес Толстой. Игнатов молчал, и лишь изредка вздувающиеся под его бакенбардами желваки, выдавали в нем волнение.

— Хорошо, граф, мы рассмотрим ваше прошение,— произнес Игнатов сквозь зубы.— Честь имею,— кивнул он головой, давая понять Толстому, что разговор окончен.

— Честь имею, господин Игнатов,— ответил Лев Николаевич и, круто развернувшись, вышел из кабинета.

Просьба Толстого была удовлетворена лишь в октябре одна тысяча восемьсот семьдесят четвертого года. Указом Правительствующего Сената поручик граф Лев Николаевич Толстой, согласно прошению, был уволен с должности участкового мирового судьи, после чего великий писатель полностью отдался своему любимому делу — служению литературе.

От автора: выражаю огромную признательность Тульской журналистке Ирине Парамоновой за предоставление архивных материалов уголовного дела, которые и легли в основу данного рассказа.



Владимир Никитин

(г. Буэнос-Айрес, Аргентина — г. Москва)



В УСАДЬБЕ

О себе могу сказать не много. Около трех десятилетий трудился на дипломатической ниве. Дорос до посла в Аргентине. Если верить, что перемены протаптывают себе дорогу, то можно эту притчу отнести бы к смене амплуа. Выйдя на пенсию, я ускоренной пробежкой решил пройти путь писателя. Выбрал его без претензий. Что-то получилось сходу, то есть прорывным образом, но считаю, что время казней еще не пришло. Дипслужба приучила к холодному ожиданию удара. Главное, предугадать с какой стороны. Однако на Ваш суд отдаю свое произведение без кабинетного волнения.

По просторному лугу, раскинутому перед стоявшим на возвышении домом с белыми колоннами, спускались отец и сын Корины. Сын, Роман, жестикулировал, отчитывая отца, как это делают все взрослые дети. Иван Андреевич шагал молча. Они направлялись туда, где луг упирался в лес, и за невидимыми хозяйственными постройками таджики засыпали котловину, промытую дождями, которые не переставали неделю. В месиве грязи на ее дне мертво лежали вывернутые деревья, их сучья, кусты рябины, папоротника и жимолости.

Безумство природы веяло отчуждением. Поденщики вписывались в эту грустную картину. Одни сбрасывали вниз лопатами грунт, другие пилили сучья и вытаскивали на край ямы обрезки стволов. Третьи подавали им веревки и искали подходящие средства. Несмотря на то, что на луг просох, в лесу стояла сырость, резко пахло вырванными из земли кряжами. Рабочие поеживались, вытирая руки от скользкой древесины.

Отец сочувственно поприветствовал всех. Деда знали, он приходил сюда с внуком. Кто-то кивнул, кто-то продолжал работу, доверив ответить бригадиру. Подчиняясь принятому на родине уважению к пожилым людям, тот машинально поклонился, приложив ритуально к левой стороне замусоленного пиджака руку. Показывая, что выполнял завещание предков, он поклонился с пристрастием работодателю и замер. Сын очень отличался от отца.

— Дело продвигается, но возни, видать, еще много,— стараясь рассеять конфуз, от которого испытал легкое неудобство, но, хорошо понимая бригадира, крикнул Иван Андреевич.

— Да, тихо его делим,— отвечал тот обоим, держа в поле зрения главного визионера,— надо его, чтоб земля хорошо сел. Быстро плохой работа будет.

— Это верно. Тогда все насмарку пойдет, снова размоет.

— Да, слабый пробка будет.

— Не холодно вам?

— Когда работай, фуфайка снимай, легко махай,— взбодрился бригадир

— Смотри, не простудись. Это тебе не дома.

— Там тоже мороз, когда кости гремит.

— Ну, тогда тебе ничего не страшно,— рассмеялся Иван Андреевич.— Действуй.

— Закончил любезничать? — жестковато спросил сын.

— А что?

— А то, что раскланиваешься, как будто зависишь от него,— возмутился он, не церемонясь, слышат его речь или нет, однако уверенный, что сложные обороты рабочие все равно не разберут,— хочешь быть популистом, как в родной деревне. Ты бы его еще братом назвал.

— Предлагаешь их в упор, что ли, не видеть,— не понял причину злости отец.— Пожалуйста, бери слово.

— Я ничего не предлагаю. Ты думаешь, что они,— показал он подбородком,— оценят щедрую душевность? Они сделают то, что я им прикажу.

— Тогда прикажи не здороваться со мной.

— Надо не заигрывать с ними.

— Мне важно, что они делают доброе дело тебе и твоему сыну. Он взглянул на Романа, но кроме стеклянного выражения глаз, оценивающих картину, ничего не увидел.— Да будет тебе известно,— добавил он в оправдание,— что в старые времена барин всегда обращался к работнику со словами «Милостивый государь».

— Опять двадцать пять! — фыркнул сын.— Опять эта бредовая закваска. Я только что говорил тебе, чтобы ты спрятал свои кондовые взгляды. Не внушал их Артему. Его сверстники и он давно живут другими мерками. Как и твои таджики. Они не по призыву партии здесь работают, не за лозунги, а за кровные, которые я плачу им. Какие еще добрые дела...

— Они тоже люди.

— Ладно, пап. С тобой бесполезно спорить. Ахмед,— хмуро обратился он к бригадиру. Тот, стараясь показать активность, отдавал команды, чувствуя, что недовольство сына касалось соплеменников и его,— сколько еще машин тебе понадобится? Ты посчитал?

— Песка надо, хозяин, земля пока не надо. Он есть.

— Песка-то песка, я спрашиваю, сколько машин, пять, десять, двадцать. И камня, какого?

— Камень тоже. Его будет с земля хороший трамбовка делать. Потом вода поливать, потом песка сыпать и снова трамбовка. Тогда хорошо.

— Вот, блин, заладил,— в сердцах сказал сын.— Ты, хоть примерно, подсчитал, как я просил?

— Моя хочет, как следует, считал,— оправдывался бригадир, жалея, что не отпрафил сыну.— Завтра уже на точный цифра тебе бумажка дает.

— Ладно, продолжай.— Сын вздохнул и повернулся к отцу.— Ты понял, какой у них уровень образования?

— Это ты к чему?

— К тому, что ты приводишь сюда Артема? Для чего ты это делаешь? Хочешь показать ему грязную изнанку жизни? Он ее и без тебя узнает.

— Да уж точно,— многозначительно произнес Иван Андреевич.

— Учишь обниматься, как сам, с этими гражданами.

— Думаешь, я с этой целью сюда прихожу?

— Ты у нас такой.

— Твой сын не раскланивается здесь ни с кем, не бойся.

— Тогда зачем ты проповедуешь эту дружбу?

— Если ты привел меня сюда, чтобы устроить допрос, я отвечать не буду,— заявил отец, не испытывая желания продолжать разговор в оскорбительном для него духе.

— Я ушел подальше, чтобы Артем не слышал.

— А! Вот в чем дело.

— Забочусь о твоём авторитете.

— Ты лучше о своей репутации позаботься?

— За это не волнуйся, там все схвачено.

— И то, как ты прыгал на лужайке, как безумный, во время салюта? Артем уши затыкал. Ему дико было видеть тебя. А пляски с цыганами?

— Это все? — ухмыльнулся сын, что отец с взыскательной нравственностью следил за его деяниями и был не такой уж невинный постоялец. — Я saniрую, если хочешь знать, свой кусок леса. После таких дождей выжившее зверье распространяет инфекционные болезни. Ты же не будешь за меня ходить по медвежьим углам и отстреливать больных тварей.

— Американцы во Вьетнаме тоже saniровали джунгли...

— Ну, ты сразил, па! Вот в этом ты весь. Больше, что, нечего сказать?

Иван Андреевичу было неприятно втроем. Он, действительно, нашел неудачный пример. Сын выманил его из дома под предлогом посоветоваться, как остановить разрушение леса. Безо всякого стыда он распекал его в присутствии людей, которых считал второсортными. С оттенком бесправия он причислял и его к ним. Всколыхнулась горечь, с которой отец корил себя, что попал в ловушку, недооценив последствий своего приезда. Роман вызвал его посидеть с сыном, с которым у него не складывались отношения.

Артем был поздним ребенком. Над ним дрожали все: мать, приезжие тетки, ее подруги и, разумеется, челядь, защищая от отца который злился, что его напористость и буреломный дух не проявились в сыне. В воскресенье Артем испортил ему настроение. Тот вернулся с охоты. Окровавленную тушу убитого кабана охотники сбросили с джипа на траву и ушли приводить себя в порядок. А их жены сначала в состоянии шока, а потом прощения азарта и увлечения убийства животных, посудачили и удалились. Прислуга занялась подготовкой пира. За столом мальчик не притрагивался к пище, бросая вызов торжественной тризне по вепрю. Роман нетерпеливо посматривал на него, памятуя, что взял с него предварительное слово, что он будет вести себя как все. Но Артем сидел, низко наклонив голову и положив руки на колени. Осторожным, участливым шепотом мать что-то поясняла ему, но он не менял позы.

— Все! Хватит! — ударил по столу Роман, прекращая их общение, которое, если и выбивалось из ряда, то никого, кроме него, не отвлекало. — Соня, отведи этого бумажного принца в его комнату, — приказал он горничной, — и дай миску чечевицы, пусть над ней читает молитвы.

Артем отодвинул стул и вышел, а мать с опустошенной печалью и отчаянием посмотрела на отца, говоря глазами, что она ведь просила его не устраивать таких сцен.

— Думаешь, буду кусать себя за хвост, — спросил он. — Тебе надо казнить, что вырастила его блаженным. Вот иди и успокаивайся вместе с ним.

Даша вышла, провожаемая взглядом Ивана Андреевича, понимающим ее как мать. Роман, подавая пример, предложил продолжить трапезу. Раскованность публики возвратилась. Ее принимали со щедростью удельного князя. Обед уносил в то былое время, когда раздолье природы и человеческая натура составляли единое целое, а отношения между супругами складывались из походного сосуществования. Некоторым мерещилось ржание коней, звон уздечек, лязг снимаемых доспехов, гулкий топот копыт по степи. Гости сходились на том, что властность — самобытный и нужный атрибут семьи. С этой точки зрения они смотрели на то, как Роман обращался с Дашей, убежденный, что она находилась в плену верований и безжизненных условностей. Некоторые женщины считали, что она где-то сама виновата. Казуистика недомолвок и скороспелых суждений путала и поражала Ивана Андреевича. Тем более, что разговоры касались дорогого ему человека.

— Ты меня извини,— вполголоса говорила своему мужу одна дама,— но я не пойму, то ли она слишком умна, то ли ей не хватает разумности угодить мужику. Это же раз плюнуть. Что дети? Сегодня они нежные цветочки и голуби, а завтра будто сорвались с цепи. А мужик как был, так и останется при тебе. Мало ли что он тяжел на руку. Держаться за него надо.

— Ты имеешь в виду его сердечность или, что он надежный оплот? — рычал, отрывая мясо от берцовой кости, муж.

— Вот именно, плот. Не утонет, доплывет. Ты, лучше, не забывай закусывать.

— А ты тоже не растекайся мыслью по древу.

— Я говорю, что Роман неудержимый, как буря и натиск. Если надо, то горы свернет. Таким и должен быть настоящий мужик.

— Подводишь, блин, мотивацию, как банк под тарифную сетку.

Он положил кость, дожевал, вытирая губы и руки от жира, проглотил и все запил вином. Женщина переждала, прежде чем сказать, а затем уточнила, почти не обижаясь.

— Ты же сам говорил, что он с молодости был таким.

— А ты была искушенной с пеленок. Так что ли?

— Ой, да ну тебя, ерничаешь. От кабана, что ли?

— Тебя слушаешь, получается: «Подумаешь, что пес порвал грелку, купим другую. На то он и пес».

Женщина предпочла не ввязываться в спор, а Иван Андреевич подумал, хорошо, что Даша ушла. Она не вынесла бы низкопробный жаргон и бравладу, которые были в ходу у людей, окружавших мужа. Хотя они и принадлежали к правящему классу. Он знал ее со времени независимой красоты, смелой и самоуверенной. Теперь видел смиренную, подавленную и одинокую женщину, которая перемещалась по дому неслышно, как тень. Что надломило ее, думал он, зная только, что она болела по-женски. Неужели сознание того, что Роман не будет бороться за нее и за ее жизнь, и чем скорее она кончится, тем свободнее он будет чувствовать себя. На что же тогда обречен Артем? Что за клубок здесь сплел его сын?

— Ты что, оглох или улетел на свою планету? — вывел его из оцепенения голос.

— Почему это оглох? — возвратился он в сырой лес с прелыми запахами, вялым шевелением листвы и покоем. Раздавался лишь свист слетающего с лопат щебня.

— Я спрашиваю, зачем ты Артема водишь сюда?

— Затем, чтобы показать, как природа сначала слепо уничтожает красоту, а затем сожалеет, что натворила бед, и восстанавливает ее,— ответил с опозданием, далеко не в лучшем виде он, надеясь, однако, что смысл до сына дойдет.— Бездумные люди поступают так же.

— Объясняешь стихию? — в голосе звучало недоверие.

— Учу, как обдумывать свои действия, чтобы потом не раскаиваться.

— Собираешься привить то, что самому не удалось? — не изменил иронической тональности Роман.— Хочешь сделать его под клише «белеет парус одинокий». Я этого ни тебе, ни себе и ни кому другому не позволю.

Иван Андреевич протяжно вздохнул. Сквозняк, веявший южным теплом, разогнал облака, пробилось солнце, и лес широко и погоже посветлел. Затрепетала крыльями и закричала в ветвях птица. Попробовал свой клюв дятел, запустив эхо вязнувшей в далеких углах леса трели. Свежий звук его долота был таким неожиданно призывным, что все вокруг начало откликаться. На ближней даче кто-то завел газонокосилку. В небе загудел самолет. Жизнь опиралась на извечные законы. Намерение подчеркнуть, кто он есть, представлялось Иван Андреевичу ничтожным и пустым. А точнее бесплодным.

— То, что я могу ему рассказать, он нигде не почерпнет,— наконец, произнес он.

— Давай по-честному, товарищ учитель. Вы приходите сюда не природу изучать, а кормить лису. Соня сказала, что вы носите сюда объедки.

— Раз сказала, отпираться не буду,— ответил Иван Андреевич, посмотрев на таджиков. Стало грустно, что прислуга доносила сыну, хотя к нему относилась учтиво. Подозрительно, что Роман словно ловил его, выманивал на признание. Будет полный провал, если и эти ребята доложат, подумал он.— Если ты отдал распоряжения, давай отойдем отсюда,— предложил он.— Зачем людям мозолить глаза.

— Мне их чувства до лампочки,— сказал Роман и стал проверять карманы куртки в поисках телефона.— Ахмед,— позвал он бригадира, проверяя, кто ему звонил,— чтобы расчеты завтра были, не сделаешь, уволю. Ладно, пошли.— Он переложил телефон в другой карман и, чуть пригнувшись под веткой, которую не стал придерживать для отца, вышел на луг.— Так вот,— отряхивался он от паутины и капель,— Артем просил ее узнать у таджиков, видели ли они щенят. Он переживает, что тут была нора, и их смыло.

— Предполагаю, как ты реагировал,— произнес отец, не понимая странного и слишком после леса светлого простора луга, а также дома на возвышении.

— Я велел ей передать Артему, что таджики не обнаружили следов.

— Но он не поверил.

— Он бы поверил, если бы ты не дезавуировал меня.

— Лиса сама приходит на лужайку.

— А ты поощряешь там представления. Дождешься, что я положу этому конец.

Действительно, Иван Андреевич просил Соню не прогонять лису, которая ходила сначала возле сараев, а затем стала смело приходиться к крыльцу. Почему-то она особенно доверяла шоферу Косте, за которым ходила как собака. Он направлялся в гараж, она шла следом, он пересекал луг, и она бежала, элегантно выбрасывая вперед длинные ноги в мешавшей ей траве. Интересно было наблюдать, как она быстро приседала, нюхала воздух, озиралась и снова двигалась за ним короткими перебежками, не отставая. Пушистый и рыжеватый, из плотного сбитого меха с ворсинками хвост существовал отдельно. Служил продолжением ее грязной, свалывшейся в норе шкурки. Чуткая Лизка прекращала вслед за Костей свое продвижение, когда тот останавливался, и хвост, сам по себе, на секунду замерев, плавно опускался. Она бежала, а хвост независимым оранжевым чулком плыл и реял за ней. Она будто хвалилась своим главным достоянием, сознавая, что во всем остальном выглядела изнуренной, жалкой и некрасивой. В ее повадках не проявлялась и отдаленная хитрость. Она была счастлива, что обрела людей.

— Ты глянь,— с начала подметила Соня, сидевшая на широкой, обрамленной балюстрадой, лестнице.— Не уходит. Значит, ей что-то надо.

— Шоколада,— говорил, получая удовольствие, Костя.— Она дрессированная.

Он выписывал зигзаги, делал ложные наклоны. Лиса внимательно следила за пируэтами, но не решалась повторять. Костя прекращай упражнения, приходя к выводу, что она его перехитрила. Он кричал Соне.

— Ее на мякине не проведешь. Не хочет плясать под мою дудку.

— Так ты ее путаешь,— сердобольно отвечала та.

Лиса стояла, задрав голову, и чутко шевелила черными кончиками ушей, прислушиваясь к звукам со стороны лесного массива, где оставила щенков. Но стоило ему просунуть руку в карман, где лежала специально припасенная для нее рыбка, как она выжидающе замирала. Со словами: «На, возьми свой заработок» Костя бросал ей рыбу. Она смотрела, как тушка шлепалась в траву, но не двигалась. На первый взгляд, будто раздумывала, не ущемляет ли она чьих-либо интересов. Но, видимо, обижалась, что Костя не по-дружески, как того она заслуживала, предлагал ей полакомиться, а делал это грубо, как одолжение.

— Ну, давай, бери, это же бесплатно,— недоумевал он.

В воздухе висела неопределенность. Соня и Артем не отрывали взгляд от лисы, которая толи боялась чего-то, толи не могла решить, как поступить. Они тоже не понимали, в чем дело. Костя наклонялся и, крутанув, подбрасывал рыбу. И вот тут, Лизка, приподнимаясь на задних лапах, делала совершенно неуловимое движение, и рыбешка оказывалась в ее пасти. Все происходило мгновенно, как фокус, искусство магии, что перехватывало дух. Не оглядываясь, она уносила ее в лес. По-видимому, прикапывала поблизости, чтобы не сразу доставлять щенкам. После чего возвращалась на лужайку. Все ожидали.

— Костя, дай ей еще, ты ей мало дал,— бежал к нему Артем, когда Лизка появлялась вновь.— Нет, дай я сам,— вырывал он рыбу. Костя не осмеливался сопротивляться, перед ним был все же молоденький барин. Мальчик покачивал тушкой перед Лизкиным носом, и даже замахивался, но лиса только отводила мордочку и смиренно сидела.— Кость, ну что она? — чуть не плача, упрасивал Артем,— ну скажи ей. Она слушается только взрослых. Она не знает, сколько мне лет. А твой рост?

— Ей нужна команда. Скажи ей.

Иван Андреевич ценил, что Соня рисковала, выделяя излишки стола для Лизки, которая опровергала обличье плутовки.

— Мне что, жалко? Всякое дыхание бога славит,— отвечала Соня,— может, в ней какая душа к нам бьется. Грех не помочь. Тем более, что у нее детки.

— Зачем ты разрешаешь Артему кормить лису,— строго спросил Роман Ивана Андреевича, когда они подошли к дому,— эта же тварь больна. Ты что, не понимаешь, что она может его цапнуть?

— Я слежу за их играми, не навинчивай себя.

— Знаешь, давай без этих штучек,— остановился сын.— Не взвинчивай, не безнадёжно. Как, блин, профессор словесности. Не надо мне лепить чучело.

— Не кипятись,— сказал отец, понимая, что прозевал, как сын аккумулялировал деспотические наклонности,— мы все поправим.

— Я тебя вызвал для чего? Быть его гуру, а мне приходится глядеть за тобой. Ладно, кончим этот разговор.— Сын обернулся в сторону дома, не желая, чтобы все видели, как свысока он говорил с отцом.— Думай о своей воспитательной работе. И не води его туда.

Быть гуру, повторял Иван Андреевич, смутно понимая смысл слова. Кем надлежало быть? Духовным наставником, дядькой, советчиком? Кем, в этих запутанных и ускользающих от него обстоятельствах?

Все расставляло по местам непровержимое, хотя и печальное, по своей сути, откровение. Судьба внука, зависела не от него, а от родителей. Честно говоря, в гувернеры он совсем не подвизался. Слушая по ночам бой деревенских ходиков, оказавшихся в его комнате, и шедших укромно, но в разноразной с ними электронных часов на тумбочке, он приходил к выводу, что за отведенное судьбой время, вряд ли сможет привить внуку идеалы, которые когда-то вдохновляли его. Но отказаться от подвижничества, означало предательство или того хуже. Добрым учителем он мог стать. Было накоплено столько знаний, что хватит для целого поколения. Передай ему хотя бы частичку своего опыта, призывал он себя, научи его сообразительности, смекалке, навыкам увидеть сущность. Не важно, что он ребенок и для постижения истин нужно не раз обжечься. Жизнь еще преподнесет ему сюрпризы. От тебя не требуется одаренности воспитателя. Открывай другую сторону вещей, то, что он не видит. Проясни, в чем подлинная состоятельность, а в чем кажущаяся. Где происходит смешение добра и зла. Если уж детские сказки учат уму разуму, то почему ты не сможешь это сделать, убеждал себя Иван Андреевич. Самое сложное объяснить, что такое счастье. Состояние влюбленности, разделенная радость, спокойная совесть и милосердие? Когда-нибудь эти заповеди всплывут в его памяти,

что будет твоей заслугой и заступничеством. Ясно, что ты — не Иоанн-креститель, но раз приехал, то действуй.

Иван Андреевич встречал выдающихся людей. Он хотел, чтобы Артем был умен, как они, но не повторил их участи. Чем дальше уходило время, тем четче виделось, что они были гениями. Иван Андреевич готов был идти за ними на край света, лишь бы творить рядом. Но в круг единомышленников его не приглашали. Их яркий свет рассыпался как вещество кометы в зияющей бездне ночи. Что сидело в этих бескорыстных утопистах, задавался он вопросом, если, не задумываясь, они взошли на эшафот гонений? Неужели они видели лучше других пути человечества? Их давно уже нет, а он все жил, сознавая сей бесценный факт, но не испытывая радости.

Поставить им теперь в строку, что они действовали опрометчиво, как он предупреждал, он не мог. В свою очередь и они встать и увидеть, что он оказался все же прав, и продолжает существование, тоже не могли. Что из того, что они оставили о себе память, а он нет? Их слава будет длиться, пока живы очевидцы. Наивно полагать, что люди, умирая, гордятся сделанным. Исключения подтверждают правила. Джордано Бруно, Коперник, Александр Матросов, Гастелло были одиночками среди миллионов. Был ли Юлий Цезарь счастлив, как и длинный ряд римских императоров после него? Нет. Ленин умирал в нравственных муках, что не доведется видеть результаты дела всей его жизни. Сталин, который выиграл величайшую из всех войн, не купался в море блаженства. В бревенчатой даче он жил, как обложенный одинокий волк, и также бесславно почил. А Великий Петр, перевернувший Россию? А Лев Толстой, Бетховен, Де Голль, Онассис, Мария Калласс, Михаил Ульянов? Смерть, увы, не венценосец успехов. В такие моменты Ивану Андреевичу казалось, что он схватил самую суть жизни, и его отношения с ней были единственно правильными. Но при ближайшем рассмотрении выходило, что и это — самообман. Бессмертие во внуках, в их потомках, обрадовано открывал он. Да, но оценят ли они его. Те, кто унаследовал родство от великих предков, не считают их пресвятыми. Для них это — лишь факт. Странная все же штука жизнь, думал он. Всегда чего-то не хватает, а чего именно, никто не знает. Видимо, надо жить по совести и все. Когда сомнения заводили в тупик, он покидал свою обитель и бродил по дому. Изумлялся его богатству, заморским безделушкам, расставленным и развешанным на стенах, которых и вообразить себе не мог ранее. Трогал и поглаживал их, склоняясь к мысли, что, может, оно и хорошо, что не перепало ему в свое время царских ценностей, не справился он бы с ними. Да и потом, с собою не возьмешь.

— Кого сейчас волнует, что мы честно прошагали свой век? — говорил он Соне, когда вдвоем они оставались в столовой. Она мыла посуду, а он сидел и пил кофе.

— Мы сами виноваты, — отвечала она, — что были слишком простыми. Тот, кто сообразил вовремя, сейчас не мучается. А мы оглядывались, что подумают.

— У нас был другой склад мыслей. Вот в чем штука.

Мы слишком доверились тем, кто был на верху, а надо было жить своим умом. Может, в том и состоит тайный промысел жизни, думал, не произнося, он, что она воздаст то, за что он, многожильный и скромный, заплатил в свое время. Роман и его компаньоны жаждут сиюминутного успеха. Так и нужно, подслаивал он доводы под оправдывающие его мысли. Интересно, что бы подумали, воскресни они сейчас, светлые головы, которыми он восхищался, увидев, что их идеалы развенчаны, что нет единой и могучей державы?

Ивану Андреевичу казалось странным, что нынешнее поколение не ложится и встает, как он, с заботой о стране, об урожае зерновых, удачах в освоении космоса, сибирских недр. Исчезло понятие Родины, преклонения перед теми, кто отдал за нее жизнь. Молодые люди представлялась ему каким-то разболтанным отрядом, собранным по принципу штрафного батальона, где жизнь ценилась ни в грош. У них было

все другое: общение, восклицания, песни, шутки, жизненные перипетии, чаяния. Как, в этих перевернутых понятиях, он мог влиять на внука?

Позавчера он рассказывал Артему о безалаберности, наихудшем свойстве русской природы, о том, почему оно превратилось в пресловутую, позорящую притчу. Привел пример, как в 1784 году строптивый игумен расположенного по соседству с храмом Покрова на Нерли монастыря просил свое начальство разобрать храм на строительный материал. Не хватало камня для возведения колокольни под боком. Уже тогда храм причисляли к чудесам света. Но ему выдали разрешение. Никому и в голову не пришло, что покушаются на святыню. Чудом уцелело сокровище русского зодчества, которым народ восхищался до этого более шестисот лет и восторгается сейчас.

— Для чего ты скармливаешь эту мякину? — спросил Роман. — Неужели ты думаешь, что он ее способен воспринять? Учи чему-нибудь реальному. Брось ты эти экскурсии.

— Не зная прошлого, он не разберется в настоящем, — возразил Иван Андреевич. — Екатерина Великая, была немкой, — но для своих внуков писала сказки и истории, в какой стране они живут, и как надо понимать и любить ее.

— Екатерина жила при лучине, а он приобщается к Интернету, — сказал сын. — Ему хватает и без тебя полезной информации.

А вчера он разяснял значение слова штрейкбрехер. Так обозвали одноклассника Артема, и он, Иван Андреевич, произвольно подошел к понятию солидарность. Привел в пример песню «Костры горят далекие», текст которой написал тяжело раненный и оставшийся на всю жизнь инвалидом фронтовой летчик. Рассказал, как однополчане обратились к тогда популярному композитору. Попросили сочинить к стихам летчика мелодию. Тот не отверг просьбу, сел и написал, в результате родилась известная песня.

— Лизка тоже солидарна со своими детенышами, — вывел Артем.

— Так поступает каждая мать, она делает это, подчиняясь инстинкту сохранения потомства. Природа заложила зачатки товарищества и в диких зверей. Они помогают друг другу, как люди, в беде.

Ивану Андреевичу на память пришла еще история. Как французский художник нарисовал и повесил за окном больного мальчика на ветке дерева желтый листок. Дело происходило глубокой осенью, когда почти все листья уже опали. Врач сказал его матери, что мальчик умрет, когда деревья станут голыми. Листок висел на ветру всю долгую зиму, он внушал мальчику веру в жизнь, и он выздоровел.

— А почему родители не дали ему свою кровь? — удивился Артем.

— Это — история о духовной поддержке.

— Доноры солидарны с теми, кто берет их кровь?

— В известной степени, да, — начал было говорить Иван Андреевич, но дверь распахнулась.

На пороге стоял взбешенный Роман. Он взял его за рукав и вывел в коридор, прикрыв за собой дверь.

— Неужели ты не улавливаешь, что он спрашивает про наркоманов? Чему ты наущаешь? Колоться?.. Думай, прежде чем говорить.

Нет, не способен был Иван Андреевич из достоинств выводить недостатки.

После леса он переоделся и спустился на первый этаж. Артем, склонившись над столом, сосредоточенно разрисовывал какую-то фигуру. Рабочим кабинетом служила библиотека, отделанная из красной сибирской пихты, с антресолю, где можно было стоять в полный рост, и с картинами из коллекции итальянских художников вдоль лестницы на верхний ярус. При входе на нижнюю площадку из изящной рамы, со строгой приветливостью, и не более, на вас смотрели умные глаза дожа Венеции,

работы Джованни Беллини. Открытое лицо пронизывало ощущением, что этот облеченный высоким для современников саном муж понимал свои ограниченные возможности в разрешении людских дел, что во многих случаях он мог лишь сочувствовать бедственному положению. Но те, кто к нему обращался, пребывали в абсолютной уверенности, что он способен на чудеса. Заблуждения и иллюзии неискоренимая и прощительная слабость, говорил взгляд. Люди преувеличивают помощь, которую ожидают от других, считая это обязанностью. Но когда идут к ним за помощью, не делают лишнее. Не удивляйтесь. Я жил пятьсот лет назад, но они до сих пор такие же. Иван Андреевич улавливал, что порицание относилось к холодной философии сына. Где-то был с этим стык.

Ответ на вопрос раскрывался, как только вы поднимали взгляд выше. На самой антресоли, словно безмолвные стражники висели венецианские плащи из черного шелка с крупными бело-красными геральдическими крестами. Их увенчивали играющие жутковатой бездной мистических прорезей глаз и недосказанностью выражения губ маски с фантастическими узорами. Они взирали почти как живые. Треуголки призраков были обшиты золотом. Шеи и подбородки закрыты лентами и богатой тканью. Они застыли в гордой неповторимости своей эпохи. Романтики развлечений, интриг, игры в любовь, перехватывания коварства, мести за обманутые чувства. Когда можно было, потеряв голову, гулять всю ночь, не веря, что уже наступил день, и засыпать под утро, продолжая, сладко грезить. Вас пронизывала догадка, что декорации говорили о погранных чувствах, выброшенных за ненадобностью некогда пылких признаниях. Раньше кабинет служил пристанищем матери Артема. Она все, как было, передала сыну. Иван Андреевич поражался, что ход мыслей Даши совпадал с видениями, которые приходили и к нему. Он проникался ее трагедией, но ничего не мог сделать.

Артем был слишком мал, чтобы подниматься в рассуждениях так высоко. Он не понимал смысл символики и атмосферы допущенной ошибки, которая царила в библиотеке. Когда вошел Иван Андреевич, не отрываясь от занятия, он первым делом спросил.

— Ну что, ты слышал голос щенков?

— По близости работают таджики. Они притихли. Они сейчас спят, а вечером, когда Лизка уйдет, залают. Они ее выгоняют еще до темноты за кормом. Тогда она приходит к крыльцу. И сегодня придет.

— Ты уверен?

— Она из цирка,— не обращая внимания на пришельца, сказал мальчик.— Если лиса жила с человеком, то она не сможет больше прожить без него.

— Что же делать?

— Я возьму их к себе и спрячу.

— Где?

— Под лестницей, там у меня коробка, они будут в ней жить.

— Кто-нибудь знает о твоём плане?

— Костя их принесет завтра.

— Лучше не раздражать отца. Ты знаешь его отношение к ней.

— Это мы еще посмотрим,— пропуская серьезность предупреждения ответил мальчик.

Он выдвинул ящик из стола, высыпал на колени содержимое пенала для карандашей. Не нашел то, что искал, взял попавшийся фломастер и начал затирать рисунок.

Во второй половине дня погода разгулялась. Небо расчистилось, солнце ласково и мягко блистало. Ветерок гулял по лугу, роились насекомые. Ничто, кроме переполненного водой пруда, не напоминало о ливне. В доме ощущалась духота, всех потя-

нуло на воздух. Даша уселась с вязанием на балконе правого крыла, откуда открывалась панорама лужайки, где Артем и Костя гоняли мяч. Артем с громким стоном заваливался на траву, катался по ней, разбросав руки и ноги, и замирал на спине. Мать поднималась и кричала ему, напоминая, что простудится. Он нехотя поднимался на одно колено, потом на другое и, делая вид, что ковыляет из последних сил, брел к футбольным воротам. Ими служили клумбы с цветами. Пинком бутсы он посылал мяч Косте, который разбежался и бил. Артем театрально падал в броске и излишне долго блаженно отдыхал, обняв мяч, на травке. Даша привставала, он неохотно поднимался. Они не слышали, как Соня подзывала стоявшую у нижней ступени лестницы Лизку. Та грациозно приблизилась и села напротив.

— Что, уже соскучилась? Сейчас я что-нибудь придумаю.

Лиса пристально смотрела ей в глаза.

— Костя, а Костя, иди, подивись, кто к нам наведется. Ты что-то рановато сегодня.

Лиса продолжала смотреть на нее, но, заметив, как Костя пошел, огибая пруд, скользнула между стоек балюстрады и очутилась на лужайке. Кончики ее ушей отозвались на звук на левом балконе. Она застыла, глядя туда, и продолжила на своих высоких, не соразмерных с телом ногах пересекать лужайку. Артем встал на цыпочки и открыл рот. Костя вышел на открытое место и вынул рыбку. Лизка облизнулась. Он метнул взгляд на левый балкон и отпрянул назад, как по команде. Подбросил вверх рыбку и отступил еще несколько шагов. Раздался выстрел. Лизка безжизненно опустилась на траву. Изо рта у нее потекла кровь.

Из дома испугано выскочил песик Гоша с бантиком на голове.

— А-а-а,— пронзительно вдруг закричал Артем, обхватив голову руками, и побежал, не зная куда.— А...а,— бесконечно громко кричал он, мечась по лужайке,— а-а-а...

В длинном домашнем салопе, босиком Даша бросилась за ним. Догнав, она прижала его к себе, безумно целуя и в чем-то быстро увещевая. Артем продолжал дрожать и дергаться головой и руками. Она закрыла его своим телом. Костя, растерянный и бледный, скрестил на груди руки. Иван Андреевич сокрушенно покачал головой, видя, как сын, опираясь на ружье, указывал тому жестом, куда оттащить лисицу.

— Господи, что же это делается,— причитала Соня. По ее щекам струились слезы. До смерти напуганный Гоша прядал ушами и виновато смотрел то на нее, то на застывшие фигуры на лужайке. Все произошло так молниеносно, будто в форточку ворвался смерч, разбил вазу с цветами, свалил на комод фотографии и улетел. Только задранные занавески и осколки на полу с комьями земли напоминали, что случилось.

Костя принес из сарая брезент, обернул в него Лизку и унес.

Вечером Иван Андреевич зашел в спальню Артема. Обхватив колени и прижав их к груди, он сидел на кровати, и смотрел в одну точку. Глаза у него были красные, он всхлипывал и шмыгал носом.

— Зачем он ее убил? — сказал он.— Она никому не мешала.

— Он думал, что она заражена бешенством.

— Ты же видел, что она верила нам,— повторил он слова, которые произнес дед в споре с его отцом несколько часов назад.

— Что теперь взвинчивать себя...

— Щенки умрут без нее,— все еще страдая от бессмысленной, не поддающейся объяснению жестокой выходки отца,— сказал мальчик.

— Я договорился с таджиками, они их покормят.

— Все равно они погибнут. Она их согревала.

— Они почти самостоятельные. Еще месяц и им ничего не будет страшно.

— Он и меня убьет, когда ты уедешь. Он это давно хочет.

— Во-первых, не говори глупостей,— не подал вида Иван Андреевич, что его пронзило как током.— Твой отец любит тебя. Он просто несдержан.

— Если бы любил, он не обзывал бы меня,— как о решенном деле заявил мальчик.

— А во-вторых, с чего ты взял, что я уезжаю?

— Ты сам сказал ему, когда ругался с ним.

— Мало ли, что я сказал. Никуда я не еду.

— Ты зашел, чтобы не будить меня утром.

— Считаешь меня штрейкбрехером?

Мальчик ничего не ответил, он всхлипнул, вытер ладонями глаза, а потом рукавом — нос.

Оба замолчали.

— Правда, что ты не уедешь? — желая услышать только подтверждение, наконец, неуверенно спросил Артем.

— Абсолютная, правда. Больше не бывает.

— И щенки не умрут? — с отдаленной надеждой предположил он.

— Нет. Мы сделаем с тобой все, что в наших силах.

— Таджики будут помогать нам?

— Как и до сих пор.

Иван Андреевич погладил Артема по голове и ушел. Тот, все еще всхлипывая, стал думать о завтрашнем дне, о том, как будет растить лисят, какую благородную роль сыграет в их жизни, и что ему еще предстоит в ней. Хорошо, что рядом были мать, Иван Андреевич и его друзья — таджики.



Алексей Яшин
(г. Тула)

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПУСТЫНЯ (Старый директор)



*Памяти бывшего директора завода
Вадима Сергеевича Усова*

*«И крикнул капитан: «На abordаж!»
Еще не вечер, еще не вечер...»*

В. Высоцкий

Евгений Михайлович Евграфов, директор завода «Прибормаш», только что отпустивший в слезно вымоленный отпуск главного металлурга, с которым вот уже сорок лет работал рука об руку на этом заводе с разницей в полтора месяца и 70-летие с ним отметивший в заканчивающемся году, с некоторым, но уже давно привычным усилием поднялся из-за стола со старинным зеленым сукном, прошелся по старой ковровой дорожке, разминая засидевшееся тело. Хотя он и был сухощавым и высоким, но — увы, уже стариком. Этим все и сказано. На кабинетных часах, таких же старинных, тихо пробило половину седьмого вечера. Приотворилась тамбурная дверь, выжидательно в створку заглянула Надежда Георгиевна, его секретарша, также из своих пятидесяти лет ровную половину состоявшая при Евгении Михайловиче, точнее с того самого дня, чуть более четверти века назад, когда он бодрым и энергичным сорокапятилетним молодцом — спортивного телосложения, с широченными плечами, необузданного здоровья — неожиданно для всех в городе и в главке перешел из главных технологов в директорский кабинет и сел за огромный дубовый стол с зеленым сукном, как поговаривали, вывезенный из послевоенной Германии одним из предшествующих директоров, числившихся одно время по штату промышленного отдела Союзной Контрольной Комиссии. То же заводское предание гласило, что стол был репарирован из кабинета самого Бормана...

Именно неожиданно сел он за трофейный стол «оберпартай геноссе» рядом с обок стоявшим в стеклянной пирамидке заводским знаменем с пятью высшими орденами. Нужен был человек, способный разгрести авгиевы конюшни, устроенные на всегдашнем флагмане отечественной оборонной промышленности предыдущим директором, хлыщем, поставленным сверху, из Москвы, ибо был он сыном одного из индустриальных министров. Всего лишь за два года он свел гигантский завод к полному ничтожеству, сам, благо, что молодой и здоровенный, пил беспробудно и блудил, но и работяги, да и инженерный состав за это время стали преобладать в статистике городских вытрезвителей. Охрана и та стала покачиваться на своих боевых постах.

Сынка турнули только тогда, когда и папаша в Москве переменял род деятельности — был отправлен туда, где меньше всего вреда мог принести Отечеству: послом в африканский Буркина-Фасо.

Хотя завод по своему значению и важности подчинялся непосредственно Москве, но тогдашний первый секретарь обкома Иван Матвеевич, памятуя горький опыт, настоял где надо на кандидатуре Евграфова, о котором ему разные городские инстанции и спецсы из Минобороны дали самые положительные отзывы. И баста, назначение состоялось. С собой из отдела Евгений Михайлович привел и Надежду Георгиевну взамен прежней смазливой бабенки, которую министерский сынок использовал по прямому назначению...

По привычке заводской народ начал шептаться и в отношении 25-летней, собою видной Надежды Георгиевны, тогда еще просто Нади, но, не находя повода, скоро помолк, да и другие события забудоражили завод: за считанные месяцы новый директор навел порядок, безжалостно — это в мягчайшие-то и человеколюбивые 70-ые годы! — уволил с полсотни попавшихся на пьянке, пресек «несунов», четверть высшего и среднего начальства поменял. И уже к концу первого года директорства о заводе заговорили в главке и на коллегиях министерства с уважительными интонациями. А к концу текущей пятилетки предприятие по сумме показателей вышло на второе место в главке и на четвертое по министерству. Еще одно Красное Знамя осталось на вечное хранение в Музее заводской славы, а Евгений Михайлович добавил на своем парадном пиджаке к уже ранее полученным медалям за трудовую доблесть и «Знаку Почета» высокий орден Трудового Красного Знамени. (Это уже потом иконостас пополнят и «Октябрьская Революция», и орден Ленина, и еще один орден Ленина, но уже вместе со звездой Героя...). Главные специалисты и многие из инженеров и рабочих тоже позвякивали на торжественных собраниях наградами. Пошла стабильная премия и различные надбавки. На завод потянулись кадровые рабочие и инженеры.

* * *

Директор кивнул отпускаясь:

— Идите домой, Надежда Георгиевна, на сегодня вроде бы все.

— До свидания, Евгений Михайлович! — тамбурная дверь бесшумно притворилась. Тяжелые складчатые шторы на двух больших окнах, выходящих на заводской двор, были раздвинуты с дневного еще света, а теперь декабрьский сумрак уже переходил в плотную зимнюю ночь. Днем полудни, когда на самую малость времени мелькнуло по-над горизонтом красное зимнее солнце, прошел тихий пушистый снежок, ровным слоем бархатно покрывший заводские проулки и огромные коробчатые крыши цехов.

Сейчас этот снеговой покров-одеяло веселил искорками-отсветами от фонарей, прожекторов, редких освещенных окон. Что-то странным показалось директору во вроде бы привычной картине; четверть века он заканчивал рабочий день в это же время, также любил постоять пять-десять минут, поднявшись из-за стола... Так что же изменилось? Он думал, напряженно перебирая все возможные зацепки памяти — и понял, сообразил наконец: с середины дня снег так и остался лежать нетронутым цельным покрывалом на земле и на крышах многочисленных зданий, уходящих в перспективе от окон директорского кабинета в дальнюю темноту, точно разрываемую только еле видимыми фонарями. А в невидимом окончании этой дальней темноты уже не слышались громкие звуки — грохот испытываемого в подземном тире ракетного двигателя, — ранее столь привычные, круглосуточные. Это-то понятно, но вот снег? Что его так задело? — Конечно же, *снег пролежал половину рабочей смены и не истоптан!* Вот что поразило его: завод-то пустой?!

Действительно, в прежние года, даже если стоял крепкий мороз, и снег, не переставая, сыпал и мел с утра до вечера, все равно, лавина рабочих, выходящих с первой смены, и чуть поменьше, но все одно густая заступающих в вечернюю, превращала этот снег в густую темно-серую массу, притоптанную местами до асфальта. А на на-

гретых рабочим теплом машин крышах цехов снег стаивал тотчас, не задерживался на них. А теперь не было ни людей, ни тепла работающих машин, ни рева стартовых ракетных двигателей. Индустриальная пустыня.

* * *

Старый директор, пристально вглядываясь в пустынную территорию завода, непроизвольно пригнул голову подбородком к груди, ссутулился в плечах, даже ноги в коленях подогнулись — чего он никогда, следя за своей осанкой, не допускал на людях. Как бы ни был крепок разумом и телом от природы, от правильного и размерного течения жизни, от ощущения своей значимости, незаменимости, пользы для людей и общества, человек преклонного возраста — все равно и тело его, оставленное без присмотра, скукоживается, съезживается и мысль уже не соколом взлетает и парит, с ходу принимая самые рискованные решения, но осторожно, тугодумно многожды перепроверяет саму себя, более всего не надеясь на собственную память, которая неохотно и скудно, медленно выдает из своего замшелого, но в то же время и бездонного хранилища нужные слова, факты, имена и образы минувшего.

Но и такой человек, если он не развалина в уже солидные годы от неумеренного сластолюбия и винопития, умственного нигилизма и эмоциональной распушенности, развращающего властолюбия и ущербного эгоцентризма, способен в критических ситуациях мобилизоваться и совершить полагаемое невозможным для человеческих сил в пожилом возрасте.

Посмотрите в свободную минуту повнимательнее за поведением (если таковой есть у вас) всеобщего любимца семьи: серого, полосатого или чернее ночи черного кота Ваську, Малыша или Мурзика, прожившего долгую — под полтора десятка и более лет — жизнь домашнего кота бок о бок со своими хозяевами. На глазах его выросли чудесным — для его восприятия — образом дети, некогда игравшие с только что принесенным котенком на равных. Уже в преклонных годах котовской жизни откуда-то начали приносить кричащих благим матом младенцев; на кота начали топтать ногами, дабы он не подходил к кроваткам-люлькам, как будто ему это надо, да его и палкой к вопящим младенцам не загонишь!

Вот лежит Васька весь вечер на сидении любимого своего, включая им же разорванного кресла, отдыхает от дневного сна, готовясь к крепкому сну ночному. Старый уже Васька, хотя на вид полный молодец: и шерсть блестит, усы вразлет, хвост трубой, глаза ясные, — но по комнатам в игривую минуту уже не носится, ступает осторожно, при любом громком крике или при шуме поджимает уши, опасливо косится. Старееет Васька, потому и полюбил отданное ему в пожизненное владение кресло. В этом бесконечном отдыхе что-то такое привиделось старому коту, приснилось, что молод он и ловок, а над его головой замерла на машущихся крыльях любопытная птичка (а это всего-то навега ожила среди зимы в натопленной квартире малая мушка и полетела по комнате). Забыл про почтенный возраст полосатый аксакал, мигом подобрался, сжался в единый мускульный комок и в единый миг взлетел почитай на два метра, ловко сцапав передними лапами малую мушку. А приземлившись, подумал: а что это я прыгал-то? Небрежно, по привычке лизнет раз-другой свой бока, свернется в клубок и снова задремлет.

* * *

Со снегом на заводском дворе и на крышах цехов все было ясно. Тоска; особо страшную тоску вызывал просматривавшийся обок слева длинный, полукилометровый главный цех сборки ракет. В добрые старые времена свет полыхал из сплошной стеклянной стены и стеклянной же коробчатой крыши всю ночь; тамошний конвейер

не останавливался ни на минуту. Раньше ему частенько приходилось летать на ближний полигон на заводском вертолете — площадка его, сейчас заваленная мусором, располагалась по другую сторону «директорского» корпуса. И возвращаясь затемно, оглябая областную центральную, раскинувшийся на предгорной уральской равнине, он еще издали отмечал в своем промышленном пригороде ярко светящуюся точку, которая по мере подлета растягивалась в сплошь горящий вытянутый прямоугольник, на фоне которого другие цеха, улицы и дома поселка казались подслеповатыми керосиновыми лампами. С яркостью сборочного цеха мог соперничать только металлургический завод в соседнем пригороде, но и то только в те минуты, когда очередная домна сливала шлак, озаряя багровым отсветом хмурое зимнее уральское небо.

Все было, все в былом. Даже металлургический, ныне с названием сплошь из аббревиатур — АК ОАО СП... и так далее,— сливает шлак как-то невесело: весь металл заберут нынешние заокеанские хозяева завода — гордости первых пятилеток, оставляя поселку только горы шлака, задымленный воздух и прокопченных металлургов, работающих почти задарма.

И химкомбинат, что по другую сторону от его завода, уже почти полностью перешел под контроль зарубежных; только пару цехов еще удерживает оборонное ведомство. А в самом городе, как чумой охвачены — остановлены почти все заводы и фабрики: почуявшие запах личной наживы, их директора с приближенными холуями с легкостью необыкновенной переписались во всевозможные АО и ЗАО. Каждый учредил при своем заводе по два десятка липовых кооперативов, через которые за два-три года подчистую распродал запасы сырья, металла, готовой продукции — все, вплоть до станочного парка (на металлолом). Рабочих выбросили на улицу, сами переселились в загородные виллы-замки о четырех этажах, поодевались в длиннополые бандитские пальто, уселись в «мерсы», а заводоуправления, что ближе к центру, сдали под частные торговые лавочки. Тьфу!

Как же мало надо, чтобы пробудить в человеке заразу наживы, индивидуального обогащения, образа жизни по принципу «человек человеку — волк»? — Надо только бросить клич: бери, что плохо лежит, отними у соседа, перережь ему глотку и завладей, а власть тебя же и охранять будет! И все, насмарку 70 лет борьбы с голодом и нищетой, разрухой и отставанием, неграмотностью и диким бескультурьем.

Вот, казалось бы, подняли страну с колен, выиграли самую свирепую войну, наконец-то накормили досыта, сделали людей и страну самой образованной и культурной в мире, загнали глубоко-глубоко в подсознание каждого инстинкты индивидуализма и наживы, а вот поди же... За считанные годы разрушили величайшую Империю мира с помощью своих «лютых друзей».

Нет и нет, размышлял медленно, но целеустремленно директор, разрушительное качество человека есть какой-то всеобщий биологический закон; стоит вожди отпустить — и вместо социального, заботящегося о своих гражданах государства получаем волчью стаю. Может, и вся сущность цивилизации, эволюции человечества состоит как раз в том, чтобы искоренять из практики общежития этот самый, первобытно трактуемый биологический закон борьбы за существование в форме «борьбы всех против всех»? — И направить его в нужное русло: борьбы *всех* против сил зла, разрушения.

Досадливо припомнился несостоявшийся его зятек. Засиделась, конечно, в девках до тридцати лет его младшая. Проворонила Светка лучшие годы за бесконечной учебой, аспирантурой и диссертацией. Теперь вот вторую строчит, а радости? — Потому и клюнула на своего несостоявшегося. С тем все понятно, подъехать к Евгению Михайловичу и «по-родственному» урвать, что можно, от завода, который, пожалуй, единственный и стоял в городе и области неприступным для торгашей и расхитителей бастионом былой мощи и государственности. Несчетно сколько раз подбиралось к нему разное жулье, свое заводское, областное и московское: дескать, приватизиро-

вать надо, выйдем на внешний рынок — сказкой жизнь заводчан сделаем! Знал он эту сказку даже не то, что по опыту других предприятий, но изначально знал, ибо обладал двумя базовыми качествами: нестяжательностью, что унаследовал от предков-старообрядцев, и мышлением государственника. И баста.

Заводских советчиков-подстрекателей безжалостно принудил к увольнению: идите и в палатки садитесь! Стройте микрокапитализм. С областными, и особенно, с московскими, было сложнее: который год держал глухую оборону, но постепенно обложили. Не мытьем, так катаньем, на измор брали.

Самым нахалом напоследок оказался несостоявшийся Светкин жених. Непонятно — а впрочем, понятно — чем он Светку прельстил, но Евгению Михайловичу достаточно было одного часового разговора с ним за домашней закуской. Для твердой убежденности даже на провокацию пошел: вкратце перечислил основные фонды завода, неликвиды, запасы сырья и металлов, где одна медь с титаном тянула на несколько сот миллионов этих самых вонючих долл^аров. Он всю жизнь свою так и выговаривал язвительно: «долл^ары» — с ударением на последнем слоге. У женишка на округлой физиономии расширились глаза, сглотнув слюну, потеряв от волнения контроль, даже сорвался на нынешний блатной язык: «Так это на несколько *арбузов* баксов* тянет?!»

Почувствовав, что выдал себя, жених загорячился и начал нести что-то возвышенное об общественной пользе предпринимательства: вот, дескать, ваш завод стоит без дела, а я кручусь круглые сутки, все своими руками и головой заработал, налоги плачу... «И копейку нищему в день воскресный подаю!» — в тон ему подтянул Евгений Михайлович, встал и, не прощаясь, ушел в свою комнату-кабинет. Больше он кандидата в зятя не видел.

* * *

Были такие моменты-затмения, в этом сам себе откровенно признавался директор, когда в голову приходила идиотская мысль: а может, и вправду это самое частное предпринимательство, бизнес окаанный, пользу приносит? Ведь худо-бедно люди чем-то заняты, а купцы-лавочки действительно «крутятся», как они выражаются.

Но в следующую же минуту он горько смеялся. Над собой: совсем к старости разум теряешь! Да, трудятся в поте лица лавочки, вся трасса от Москвы до Владивостока забита автофургонами: ядовитую «пепси» и гнилые сникерсы развозят. То, что раньше Госплан с несколькими тысячами сотрудников, горторги с сотней персонала, да группа в пяток снабженцев на двадцатитысячном заводе за сорокочасовую рабочую неделю делали, теперь полстраны населения гоношит.

Здоровенные парни по всей стране, вместо того, чтобы у станков, кульманов стоять, корабли и гидроэлектростанции строить, города в пустыне и тайге возводить, наконец, в экипажах атомных подводных лодок и авианосцев, в танковых дивизиях и авиаполках твердой рукой править подвластным нам полумиром... Вместо этого они бережно, как дитя малых, переносят из оптовок в багажники машин лавочников ящики с мерзейшим, напичканным консервантами баночным пивом.

В итоге, вовсе не изучая толстенные тома современных переводных книг с названием «Макроэкономика», Евгений Михайлович сам сформулировал два закона, в которые вся эта современная макро- и микроэкономика вмещается: «Закон авианосца» и «Закон сохранения суммарной энергии и интеллекта общества».

Первый фундаментальный закон был краток (как все гениальное) и разъяснений не требовал: в современной, глубоко интегрированной, мировой экономике господствует тот, кто получает право печатать денежные знаки в любом количестве, ничем

* На современном новоязе: как кусок — сотня долларов (рублей, марок...), штука или тонна — тысяча, лимон — миллион, так и «арбуз» — миллиард.

не обеспеченные и принимаемые в качестве оплаты всем миром; а это право имеет тот, у кого больше всех авианосцев.

Второй фундаментальный закон трактовался в том смысле, что для каждого социума, государства суммарная человеческая энергия и интеллект есть величина постоянная и определяется численностью населения и достигнутым уровнем развития, куда входит все: интеллект, наука, культура, промышленность, военная мощь.

Конечно, эта сумма неуклонно повышается с развитием общества, государства, но на каждый момент исторического времени («временной срез») она есть строго конкретная величина, в миг единый не может ни резко повыситься, ни резко упасть, то есть быстрым — по сравнению с эволюционным временем — может случиться только *перераспределение* внутри этой постоянной суммы по принципу: если где прибыло, то рядом убыло.

Это и есть идеология, движущий механизм навязанной нам «перестройки», то есть полного и методического разрушения государства. Действительно, если миллион-другой крепких мускулистых парней пошел в бандиты, то стольких же крепких и мускулистых лишилась армия, милиция и спорт. Миллионов пять-семь по всей стране пошли лентяйничать в охранники — от обычных школ и автостоянок до банков и личных персон главбандитов, чиновников высшего ранга и вплоть до эстрадных (безголосых) «звезд» и модных столичных портняжек, — то стольких же бравых дембелей лишились опустевшие цеха заводов, завершившихся на нулевом цикле строек. Полстраны ринулось в мелочную торговлю — вся промышленность и строительство в стране замерли. Ту же антипараллель можно провести и для перекачки интеллекта из сферы полезной для общества в прямо противоположную. Резюме: вроде бы жизнь и кипит вокруг нас, особенно в больших городах, энергией, кажется, сам воздух пронизан, но это уже не энергия государственного созидания, а хаотическая энергия разрушения! И никакой современный агитпроп это не опровергнет.

Еще один существенный момент. Тот же достопамятный Павлуша-жених на заре своей трудовой деятельности работал после окончания Уральского политехнического по распределению в нашем городе в оборонном НИИ. Так и Павлуша, и — по житейским наблюдениям Евгения Михайловича — другие торгаши-спекулянты, предприниматели-обиратели в голос стараются объяснить, что-де их уход в торговлю есть вещь вынужденная, а так они до скончания века трудились бы на госпредприятиях, да «государство перестало платить зарплату, а есть что-то надо, вот и ринулись в челноки, в палатки» и так далее до бандитского трудоустройства. Это переворачивание с ног на голову, очевидно, нужно им для самооправдания; все же великая вещь воспитание в течение нескольких поколений! — Уже никто и не требует этого самого оправдания, а что-то совестливое «почти что» на подсознательном уровне осталось у самых отъявленных воругов, торгашей, банкиров-кровососов.

А оправдания эти — для дурачков-простачков. Еще и работа на всех была, и зарплату исправно платили, и в «верхах» твердили вовсе еще не о капитализме, а, наоборот, о качественном улучшении социализма. «Меченый» распаялся, а народ попер валом в кооператоры, мешочники-челноки и прочие лавочники. Троянским конем, подсунили народу и государству химеру частного предпринимательства, освободив самые низменные инстинкты, в том числе накопительства и индивидуализма.

Это не в теории, на примере собственного завода директор воочию наблюдал: в отдел кадров ворохом сыпались заявления «по собственному». Работяги еще держались, а вот всякая прослоечная братия... Все-таки есть смысл (и основательный) в определении «гнилая интеллигенция»! Прежде всех, конечно, ринулись в Турцию за бараклом бабы. За ними потянулись в кооперативы мужики помоложе, поздоровее. И пошло-поехало. Так, что неча на зеркало пенять, коли рожа крива. Понятно, конечно, не мешочники-кооператоры разрушили основу государства-индустрию. Разруша-

ли — умно и целенаправленно — могущественные силы, но одними своими силами они бы этого не сделали. По крайней мере так скоро. Им нужна была армия мелких исполнителей, которые, как жуки-короеды, подточили бы своей массой основание ствола государственности. И такую армию они нашли, ловко использовав темные биологические инстинкты индивидуализма и накопительства.

А представь иную ситуацию: несмотря на зазывы и прямое (по телевидению) подстрекательство, массово бы люди не стали уходить со своих рабочих мест? — С коллективом размером с население СССР агентам влияния было бы сложно справиться, а?

* * *

Часы внушительно, но негромко пробили семь. Пора и собираться. Позвонил в гараж:

— Николай, давай заруливай. Когда подъедешь — не утруждайся, не поднимайся, звякни по внутреннему.

Минут пять-шесть в запасе еще было, а Евгений Михайлович по заведенному жизненному ритму не позволял даром проходить ни одной минуты. Опять же любил ставить точку в любом, даже мимолетном деле. Чтобы завершить малоприятные воспоминания о несостоявшемся зяте, вспомнил еще один его «тезис»: дескать, вот-вот минует дикая стадия капитализации, наступит правильная жизнь. Роль государства в его распределительной функции займет серьезный предприниматель. Ну-у, себя, конечно, обижать не будет, зато благотворительностью широкой вмиг положение простого люда исправит, культуру поднимет и на соцбыт останется... Весь мир развитый так живет и не тужит!

Это в каком же бредовом сне, Павлуша, тебе этакое приснилось? На каком-таком развитом Западе, где за цент-пфенинг удавятся, мать-отца родных продадут, увидел ты благотворительность? Действительно — директор в отличие от Павлуши, кроме турецких барахолок ничего не видевшего, объездил по делам завода полсвета, — всяких фондов там тьма-тьмущая. Но мало кто из наших павлуш задумывается: откуда они взялись, и как они «благотворят»? А взялись по той причине, что это только у нас директивно возвращают «олигархов»-миллиардеров, а на зрелом Западе сверхбогатство в личном пользовании не в почете: и на государство такой сверхбогач может поплевывать, а глядишь, как Бен Ладен, восплачет идеей и начнет американские посольства по всему миру на воздух пускать. Потому там и установлен жесточайший налог на наследство: чтобы наследник не почивал на папашинем капитале, а крутился и вертелся, работал день и ночь, укрепляя мощь государства. — Государства! Не свою... С наследства в миллион долларов налог составит львиную долю этого несчастного «лимона», а за миллиардное наследство так и сам должен станешься...

А чтобы наследник не начинал с нуля, а имел солидный стартовый капитал, и придуманы фонды, с которых налог почти не берется. Основал фонд, завещал ему капитал, а директором-распорядителем пожизненно сынок-наследник. И на безбедное житье-бытье хватает, и уставный капитал фонда не возбраняется в деловой оборот пускать. Но зато денежки эти уже не пропьешь-прое..., на дело исламской революции не отдашь, они на государство работают — опосредованно, через персону того мистера-твистера, что якобы «владелец заводов, земель, пароходов»...

Конечно, малая толика от процентов на проценты уставного капитала идет и на благотворительность, о которой с восхищением говорят гадноватые павлуши, но это вовсе не русский обычай копеечкой-рублечком оделять немощных и убогих по случаю воскресенья. Опять же за каждый выданный благотворительным фондом (Сороса, Мак-Артуров и пр. и пр.) цент он, а в его лице, в конечном счете, государство, получит прибыли на доллар; лучше на два.

Самый распространенный тип фондов — финансирование научных инициатив. Прибыль — несоизмерима с благодеянием. Другой фонд поощряет насаждение «американского идеала» в мало- и среднеразвитых странах. Всем известен фонд Сороса; тут и клейма ставить негде.

Так что, Павлуша, надо и немного думать, когда что-то хочешь сказать!

Единственно где в мире и была самая настоящая благотворительность, так это в России эпохи капитализма, то есть начиная с купцов из пьес Островского и заканчивая Третьяковыми, Мамонтовыми, Морозовыми. Да и то в силу совершенно исключительных обстоятельств, обязанных властолюбивому патриарху-мордвину Никону. Все что было сильного духом и крепкого телом на Руси, ушло в старообрядцы. Кому как ни директору было это знать, ибо сам он происходил из волжских старообрядцев-поповцев (то есть имевших свои церкви в городах, а главное — своего главу, архиепископа Новозыбковского* и Всея Руси). Последующие за Никонем патриархи, а далее Священный Синод, до самой революции жесточайше стремились искоренить древлеправославных. Кстати, потому с таким восторгом старообрядцы (не сибирские скитники, а жившие в европейской России) восприняли советскую власть. И она их не трогала.

Так вот, ревнителям древлеправославия был закрыт путь в науку, в образование, в государственную службу, даже военная карьера была закрыта. В то же самое время это были наиболее трезвые, умные, энергичные и рачительные люди России. Единственно, где они могли найти приложение этим качествам, была промышленность и торговля, как занятия малопrestижные в те эlegantные времена... А тут подошла капитализация России, а старообрядцы оказались волею судеб вершителями промышленности и экономики Империи. Именно им-то Россия обязана тем, что к концу XIX века она стала индустриальной державой, сравнявшись с кичливой Европой.

А здесь начинается, вернее продолжается, самое интересное. Воспитанные многими столетиями качества бескорыстия, отрицания сребролюбия, жажды наживы, обостренное чувство государственности вступали в явное противоречие с деятельностью, где без больших денег не обойтись. Эти деньги жгли им руки, они стыдились своих гигантских капиталов. Отсюда и их вечная душевная неустroенность, блестяще отраженная в творчестве Островского, Горького, Мамина-Сибиряка, Вяч. Шишкова. Кто-то, сломавшись, ринулся во все тяжкие, как герой «Угрюм-реки», кто-то «цивилизованно» обогащал отребье Парижа: салонных проституток, лакеев в ресторациях, третьесортных актеров. Но большинство весь свой сверхдоход употребляло на разумную, полезную людям и государству благотворительность. Так по всей России возникли тысячи храмов и сотни монастырей, опера Мамонтова и галерея Третьякова. Даже революционерам «субсидии» доставались. Тоже государственное дело... Ведь царь был исконным врагом старообрядчества, им нужно было социально ориентированное государство коллективизма, что позже назовут советской властью.

А вот представить меценатство нынешней интернациональной сволочи? — Бред!

В тишине опустевшего завода директор услышал шум машины за окном: Николай подогнал верную «волгу», полтора десятка лет верой и правдой служившую Евгению Михайловичу. Он подошел к угловому шкафчику, накинул шарф, надел пальто и совсем не новую пыжиковую шапку, ровесницу подъехавшей машины. Застегивая пальто, он усмехнулся. Совсем пообносился и в прошлом году с супругой как-то отправился на городской рынок купить зимнее пальто; жена объяснила ему, что сейчас нет понятия «ходить по магазинам», все — от колбасы до верхней одежды продается на толкучках.

Однако подобрать себе он ничего не смог: только длинные бандитские пальто на

* г. Новозыбков Брянской области; сейчас — архиепископ Геннадий.

рыбьем меху, да какие-то куртки, крикливо разукрашенные бесчисленными молниями, карманами, какими-то надписями латинскими буквами двухдвоймового размера. Однако выручила дражайшая его Любовь Васильевна. Была она бодрой и еще молоджаво смотрящей женщиной, которой редко кто мог дать ее истинный возраст, а была она на десять лет моложе Евгения Михайловича; а по этой причине память у нее, особенно на бытовые дела, была превосходной. Она порылась на антресолях — квартира директора располагалась в доме старой постройки — и вынесла пальто, померив которое с видимой неохотой, Евгений Михайлович пришел в полный восторг: китайское пальто, скроенное в китайском же индпошиве тридцать лет назад из добротного материала, оказалось и по фигуре, и по фактуре; покрой и фасон отвечал самой свежей моде на добротную и солидную зимнюю мужскую одежду, гармонировало и со старым пыжиком. Получив одобрение, Любовь Васильевна отнесла пальто к знакомой портнихе кое-что обновить и «подсовременить», а в первый же морозный день даже по-женски наблюдательная Надежда Георгиевна ошиблась и поздравила шефа с обновой.

— Дорогая, наверное, вещь? — поинтересовалась она на правах давней сослуживицы.

— Дорогая... как память, — усмехнулся Евгений Михайлович.

С этим пальто, привезенным директором тридцать с небольшим лет назад из полугодовой командировки в Китайскую Народную Республику, где незадолго до того, как Никита испоганил отношения с Мао, он участвовал в технологической отладке нового цеха военного завода, также связана занимательная история. Однако времени на обстоятельное воспоминание уже не оставалось, а наскоро, скомканно он не любил даже вспоминать.

Директор протянул руку к выключателю, готовясь погасить свет в кабинете, но в этот момент внутренняя тамбурная дверь медленно стала открываться, сопровождаемая легким предупредительным покашливанием. Так и в такое время к нему могли входить только немногие, с кем его связывала долгая совместная работа, переросшая не то что в дружбу, но в необходимость и постоянных ссор, и не менее постоянных примирений, словом — езды в одной упряжке.

* * *

Действительно, в полуоткрытую дверь просунулась билиардная лысина Алексея Финогеновича. По знаку хозяина он и полностью вдвинулся в кабинет. Отпущенный в отпуск главный металлург был в пальто, но в незастегнутом и без шарфа. Шарф и шапку он держал в руке. Такая форма одежды означала, что зашел он к директору не на халяву прокатиться на машине до дома, а погутарить, расслабиться. По позднему времени и одежду захватил, чтобы к себе в цех не возвращаться. Кроме шапки и шарфа в руке была матерчатая сумка с неопределенным на взгляд содержанием.

— Можно, господин директор? — поддразнил металлург. Судя по легкой испарине на лысине и клюквенному румянцу на расправившихся морщинах лица, он уже наскоро успел отметить вырванный зубами отпуск в родном коллективе.

— Заходи, заходи, Финогеныч! А я думал, что ты уже в минском поезде на всех парах мчишься.

— Полно тебе, Михалыч! Всего-то две недели и выпросил. Вот у самого правнук будет, так, небось, бросишь завод и помчишься на край света повидать. Тем паче — ха-ха! Заграница ведь, мать ее ети... Глядишь, завтра туда, как в Америку, придется ездить: визы всякие, загранпаспорта, долларов мешок на одну дорогу.

— Так вроде, наоборот, теперь у нас союз с Белоруссией?

— Хм-м, смотря какой: *союз да не Союз*: не будет никакого союза, не для того Союз разрушали!

— Ладно, ладно, проходи, скидывай архалук свой, садись, махнем по рюмахе за правнука.

Директор и сам снял уже застегнутое пальто, хотел сбросить на стул, но, не терпя неопорядка, все вновь развесил-положил в угловой шкафчик, туда же указал и металлургу. На раздавшийся по местному телефону звонок ответил, что-де ты, Николай, поезжай домой, не жди, я дежурную вызову. Дав отбой, чуть помедлил и позвонил домой:

— Васильевна! Что? А, с грибочками пирожки — отравить задумала... Шучу, шучу. А я задержусь ненадолго, надо с Финогенычем инструктаж провести, ведь аж в за-границу едет, старый!

— Я не насчет правнука тебе завидую,— плавно продолжил он прерванный разговор.— А ты меня тоже пойми: сам знаешь, что теперь нам металла для оболочек движков никто уже поставлять не будет, все металлокомбинаты ныне не на государство работают, а за чистоган. Это у нас сейчас самое узкое место. Будем, как в Китае, во время «большого скачка» все сами делать... Глядишь, и доменку свою на хоздворе сложим.

— Тебе все смеяться. Да не получится у нас и скачка; Китаю он только на пользу пошел, а у нас сам знаешь, чем закончится.

Евгений Михайлович между тем открыл дверцу холодильника, встроенного в сплошную — во всю стену — шкаф-стеллаж, нагнул, рассмотрел содержимое.

— Ты, Михалыч, свой коньяк-то не доставай, от него одна изжога. Я свой фирменной принес. И закуска у меня, не в пример твоей магазинной, полезнее для организма. Дай-ка пару рюмок, тарелки с вилками и хватит. Хлеб тоже есть.

Алексей Финогенович выложил из давешней сумки на журнальный столик в углу комнаты перед диванчиком припасы: бутылку с отсвечивающей золото-коричневым жидкостью явно немалого градуса, заранее порезанный домашний окорок, который разложил в тарелке, малую буханку «бородинского», а в другую тарелку вывалил из баночки порезанную кусочками селедку, густо отсвечивающую жирком.

— Прошу!

— Ты из чего гонишь ее, а, Финогеныч? — директор рассматривал на свет рюмку с налитой водкой, которая лучисто вспыхивала при покачивании.

— Гонят, Михалыч, самогон на продажу, а это ржаное вино тройной перегонки, настоящее на ореховой скорлупе. Сто двадцать дней цикл изготовления! В восьмидесятом году, помнишь замначальника главка Жаворонкова? — За пару презентованных бутылок этой вот водочки подписал мне у министра заявку на 105-ую машину! Знаешь ведь, до сих пор из нее железяки разливаем.

— Ну, будь здоров, Михалыч! Как вернешься — за дело, а пока на правнука съезди порадоваться.

* * *

Повторили по полрюмки, закусили домашним харчем, к которому Евгений Михайлович добавил-таки кой-чего из директорского холодильника.

— Будем о делах говорить? — прожевав кусок ветчины, поинтересовался металлург.

— Это как в анекдоте что ли: на работе о бабах, а за бутылкой о работе?

— Поздно нам уже о бабах, хотя у тебя вот и зубы почти все свои, шевелюра опять же, а в своем ново-старом китайском макинтоше и вовсе на банкира средней руки смахиваешь. А бабы сейчас, независимо от возраста, только на такой антураж и обращают внимание!

— Эх тебя понесло с выпивки. Нет, ни о бабах, ни о делах говорить не будем; баб нам своих хватит до шопеновского марша, а дела, как всегда, хреновые. Чего о них говорить?!

— Да-а-а. Как думаешь, директор, к чему готовиться? Ведь рано-поздно к акционированию принудят, либо в банкротство, в опеку опишут. Куда ни кинь — всюду клин.

— Сам знаешь, Финогеныч, стою и держу круговую оборону. Теперь понимаю панфиловцев и Матросова. Даже без преувеличения.

— Вот ты скажи мне, как старому сотоварищу: веришь, что выкрутимся, снова заработаем на полную мощность?

— Спроси, Финогеныч, что полегче. Пока твердо знаю одно — что из нас хотят сделать. Про ракеты — забыть. В лучшем случае сборку южнокорейских дешевых легковушек, но вначале — все разворовать, разрушить, разогнать остатки квалифицированных кадров: на ширпотребовском конвейере нужны дебилы с умением всю смену одну и ту же гайку завинчивать.

— Слушай, у меня давно мысль созрела, только не кричи, не верти пальцем у виска... а ведь твой кабинет наверняка с прослушиванием?

— Ты, Финогеныч, лучше книжки, классику по вечерам читай, а не в телеящик этот... смотри! Ишь, что придумал: подслушивать! Да что тут подслушивать? — Как материмся, деля тришкин кафтан, как на полный мизер хоть тыщонку-другую рабочих удержать, за топливо для котельной и электроэнергию хоть что-то заплатить? А что касается техники, то на наши изделия давно уже полные комплекты техдокументации, техпроцессов, да с действующими образцами давно проданы за тридцать три сребреника ловкачами из Москвы. Да и у органов денег нет на подслушивание, сами на бензин для оперативок экономят.

— Да я не о них, органах твоих, я о бандитах.

— А-а, это дело другое, хотя сейчас трудно разницу уловить между всеми, кто на наше добро зарится. Однако, вряд ли, у нас не банк. Так что выкладывай свой план «Б1».

— Зря, Михалыч, смеешься. Надо все предусматривать, когда сволочь лезет нахрапом. Ты войну где встретил, то есть начало ее и первый год?

— Известие встретил в пионерском лагере — вон, где химкомбинат сейчас стоит, раньше был лес, а в нем лагерь от станкостроительного, где отец работал.

— Да-да, ты говорил. Запомывал. А я вот в детдоме под Минском впервые услышал, как фугаски полутонные рвутся. И эвакуировали нас в самый последний момент. Детская память цепкая, помню, как наши войска отступали — не по книжкам и фильмам знаю. Так вот, взрывали и минировали что можно, вернее, что успевали. Чтобы врагу не досталось!

— Ты что, предлагаешь завод перед акционированием взорвать? Ну-ка, разлей остаток по рюмкам, выпьем — закусим, а потом я посмотрю: о чем речь поведешь.

Алексей Финогенович принял рюмку, закусил селедкой, от директорского суджука отказался:

— Не понимаю я вкуса в этих копченостях: твердые как камень, ни вида, ни вкуса. Резина какая-то с перцем. Так вот, я не рехнулся вовсе, а продолжу. Ты слушай и наматывай. Минировать, конечно, дело несерьезное. Во-первых, взрывчатки у нас нет, даже ракетное топливо, сам знаешь, только на опытные образцы поставляют. А в этом квартале и вовсе — фиг вам! Во-вторых, завод-то пока не совсем пустой; ковырнет где ломиком работяга — и пиши похоронку, а нам с тобой, на радость будущим хозяевам, на баланду до конца жизни. Хотя, конечно, ради правого дела лично я готов и на это. Но — малоэффективно. Только на руку кому надо сыграем.

Нет, ты опыт работяг из Выборга на вооружение бери. Надо готовиться загодя к обороне завода. Для начала из самых надежных создать штаб, человек пять-шесть, не больше. Желательно из главных специалистов, их замов. Каждый возьмет свое направление, соответственно ему будет формировать свои группы. В решающую мину-

ту — твое обращение ко всем работникам завода, жителям поселка — грудью встать на защиту...

— И баррикады из списанных станков навалим, вахтеров с револьверами на крыши посадим, ракеты из комплектующих сварганим и начнем бомбардировку банков в городе, — в тон ему продолжил директор.

— Тьфу ты! Я ему серьезно, а он... Подожди, подожди... До девяносто третьего тоже дикой фантазией считали, что кантемировцы из танков будут лупить по Дому Советов. А как обернулось? Ну, ладно, когда созреешь, может и мои слова бредом не покажутся. Что ж, водочку допили, дай-кось я тарелки-то в холодильник поставлю. Туда же, — он подмигнул директору, — и непечатую бутылочку моей ржановки, — Финогеныч достал из похудевшей сумки бутылку и поставил в холодильник.

Директор позвонил в гараж, приятели вышли из корпуса, сели в дежурный «уазик». Высадив главного металлурга — жил он в своем доме на окраине заводского поселка, — дружески пожал руку, до встречи, мол, — велел шоферу трогать. Через полчаса он уже сидел на кухне за запоздалым ужином. Любовь Васильевна уговорила-таки. Зашла за чашкой кофе дочь. Опять полночь будет сидеть за своей диссертацией.

— Светка, ты в революцию веришь? — спросил он. Все-таки в домашнем тепле хмель его разобрал, потянуло на разговоры. Однако у дочери в голове сейчас было иное:

— На данном этапе? Это под чьим же знаменем и за какие идеалы? А движущая сила, конечно же, героический пролетариат? Так пролетариат, к сожалению, папа, по ларькам ночными сторожами расселся. Знаешь новые слова старой песни: «Вот они расселись по ларькам».

Евгений Михайлович со всегдашним восхищением посмотрел на дочь: и умна, и красива, по домашним делам руки где надо приделаны, а поди же — без мужа. Может мужики ее просто боятся? Они ведь не любят, чтобы жена в чем-либо превосходила, а здесь превосходство будет полное.

Светка ушла в свою комнату, а на ее место пришли Барбос и Полосатый, явно в ссоре друг с другом. Полосатый, потершись дружелюбно о ноги хозяина, вспрыгнул на форточку и что-то усиленно начал рассматривать в начавшейся поземке. А беспородного — с намеком на овчарку — Барбоса уже одевшаяся Любовь Васильевна увела на вечернюю прогулку.

Потеряв собеседников, Евгений Михайлович, захватив стакан чая с лимоном, пошел в свой кабинет, который оборудовал еще двадцать лет тому назад во время капремонта старого дома, построенного в тридцатых годах при для «техэлиты». Он по-хорошему побеседовал с прорабом и архитектором, в результате чего в квартире появилась комната-фонарь, отделенная от большой комнаты портьерой и выходящая за стены дома треугольным балконом, естественно, застекленным. Обе стены были сплошь закрыты стеллажами с книгами, перед треугольным окном стоял рабочий стол, а возле портьеры уютный диванчик и большое кожаное кресло.

Директор сел за стол, включил настольную лампу, погасив верхний свет. Шторы на окне он не задвинул.

Настольные часы — подарок к 50-летию, показывали половину девятого. «Еще не вечер», — усмехнулся непонятно чему Евгений Михайлович. Подумал, включил торшер и погасил настольную лампу. Тянуло прилечь после долгого и муторного от многочисленных и бесполезных телефонных звонков в Москву и Ленинград (новое старое название он категорически не признавал) рабочего дня, от тройки рюмок крепкой «ржаной» Финогеныча, от приятного послеужинного тепла в желудке.

Еще раз усмехнулся, вспомнив разговор с главным металлургом, а раз вспомнил, то отыскал на верхних полках, в самом заброшенном уголке малоприметную книгу «Обуховская оборона», которую ему подарил давным-давно ее автор — профессор из

Ленинграда, с которым он сдружился, проводя отпуск в Гурзуфе. Профессор был военным историком и даже имел полковничий чин. Где-то он сейчас? Не совсем интересные для него, но даренные с автографом книги директор ставил на неудобные для пользования верхние полки.

Прилег на диванчик, открыл книгу. Шрифт был мелким, не хотелось вставать и идти к столу за очками, поэтому рассматривал старые фотографии; книга была богато иллюстрирована. За этим интересным делом и задремал под мягким торшерным светом.

* * *

Троекратно громко и басисто прозвучал в утреннем мареве заводской гудок; ранее он включался только во время учений по гражданской обороне, да и давно эти учения уже не проводились. Члены штаба обороны, заседавшие в кабинете директора всю ночь, встали со стульев, похватили лежавшие внавалку на диване пальто и шубы и, на ходу одеваясь, побежали по узлам обороны. Кроме хозяина в кабинете остался начштаба — Алексей Финогенович.

— Зато сейчас не до смеха,— директор с ненавистью посмотрел на названивающий без умолку телефон. Поднял и хлопнул о рычаги трубку. Телефонная игра окончилась.

— Ты давай координируй, а я на наблюдательный пункт,— директор подошел к угловому шкафчику, надел полюбившееся ему китайское пальто, на пороге внимательно оглядел кабинет, махнул рукой и вышел. В приемной строгая и сосредоточенная Надежда Георгиевна сортировала, стоя у открытого шкафа, папки с документами. Наиболее важные она складывала в большой, явно снарядного образца, ящик, принесенный работягами из тарного цеха.

Кроме секретарши, в приемной сидели несколько молодых инженеров, одетых в спортивные куртки, кроссовки и черные вязаные шапки-чеченки. Это были прикомандированные к штабу порученцы. В руках они держали мобильные телефоны, изъятые у главных специалистов завода. Евгений Михайлович молча кивнул им и вышел из приемной. Вслед ему поднялся и ушел шофер Николай, на этот раз в роли телохранителя.

Проскочив два заводских проулка, машина подрулила к зданию военизированной пожарной части; она обслуживала весь поселок, но размещалась на территории завода, ближе к выездным воротам. В сопровождении Николая и начальника ВПЧ директор поднялся на площадку пожарной вышки.

Серый декабрьский сумрак утра уже переходил в рассеянный видимый свет. Подъездная к проходным дорога была перед заводской обширной площадью перекрыта грузовиками с кузовами, заваленными битым кирпичом, стружкой и прочим тяжелым хламом. По заснеженным пустырям вправо и влево от дороги тянулись перпендикулярно ей сколоченные из сажених чурбаков «ежи», между которыми выделялись ржавчиной на белом снегу скрученные из колючей проволоки спирали Бруно диаметром с рост среднего человека. Сама заводская площадь была пустой, но за грузовиками с мусором толпились две сотни одетых в камуфляж здоровых мужиков в натянутых на головы масках с прорезями для глаз. А далее по шоссе в ряд с интервалами тянулась вереница машин, преимущественно иномарок. Около них стояли, переговаривались, переходили от машины к машине люди в длинных черных пальто и без шапок.

Директор поднес к глазам бинокль, внимательно рассмотрел штурмующих. Братва в камуфляже автоматов не имела, но правые руки держала в карманах.

— Смотри-ка,— прочитал его мысли Николай,— даже без ОМОНа обходятся. Уже и свои воинские формирования!

Евгений Михайлович перевел визир бинокля на иномарки и скоро отыскал Павлушу, назначенного председателем совета директоров новой АК ОАО СП «Карпу-

хинские метизы». Пугаясь в длинном пальто, он суетился между группками соратников-банкиров и членов директората, не отпуская при этом мобильного от уха.

Из этой же группы раздался усиленный мегафоном зычный голос: «Господа служащие и рабочие, уважаемые акционеры! Согласно постановлению № 666 от... Карпухинского районного суда на основе решения № 999 Комитета по приватизации вы обязаны в получасовой срок разблокировать подъезд к предприятию и покинуть территорию завода. О сроках возобновления работы завода будет сообщено дополнительно. В случае вашего отказа и на основании решения суда мы будем вынуждены силой занять территорию завода. Будьте разумны и подчинитесь закону!»

«Лучшая оборона — наступление, — по-суворовски громко сказал директор, — была оборона Обуховская, станет и Карпухинская! Начинай», — отдал он команду в мобильник. В наставшей после мегафона тишине заскрежетали автоматически открываемые главные въездные ворота обок центральной проходной. Наступавшие, не ожидавшие такого удивительного послушания, на миг оцепенели. В этот же миг машины-баррикады, стоявшие плотно друг к другу и кабинами к заводу медленно тронулись, въехали на заводскую площадь, разъехались вправо-влево, открыв проезд к воротам. В бинокль лиц водителей в бронированных кабинах с танковыми триплексами видно не было.

Чуть помедлив, но, видимо, получив команду от длиннополых, камуфляжники нестройно двинулись к воротам, в руках у них внезапно появились дубинки, а топорщащаяся одежда выдавала наличие бронжилетов.

Вслед за бойцами медленно тронулись и иномарки со спешно усевшимися в них длиннополыми.

Бойцы входили в ворота настороженно, жмурясь от яркого прожекторного света, бывшего им в глаза и не позволявшего видеть перед собою более чем на несколько метров. Когда вертящие головами и дубинками камуфляжники вошли в ворота, те так же медленно затворились. Прожектора погасли; раздались вопли и мат-перемат: две сотни охранников оказались в западне: сзади пятиметровые стальные ворота, слева и справа глухие торцевые стены здания проходной и склада, а впереди проход между этими постройками был перегорожен решеткой, сваренной из стальных швеллеров и обмотанных колючей проволокой. А за решеткой на расстоянии пяти метров была навалена в полтора человеческого роста вал-баррикада из легкого мусора. В левом от ворот углу стояла свежесколоченная из неоструганных досок будка сортира, на двери которой черной краской было крупно написано: «Добро пожаловать».

Тем временем снаружи ворот, прежде чем те замкнулись, иномарки уже успели въехать на площадь перед заводом, а в момент, когда ворота начали задвигаться, грузовики с бронекабинами сделали маневр с разворотом и вновь вышли на шоссе, плотно сомкнулись и замерли, но теперь уже кузовами к заводу. Из кабин вышли водилы и, посвистывая, направились в сторону поселка. Они свое дело сделали. Ключи зажигания они прихватили с собой, а для верности прокололи заранее припасенными шильями все камеры.

В течение последующего получаса гремели pistolетные выстрелы бойцов; стрелять им приходилось только через решетку в баррикаду-пулегаситель, ибо ворота и стены давали рикошет тупомордым pistolетным пулям. Павлуша орал благим матом в мегафон, грозя чуть ли не танки НАТО вызвать. Надо отметить, что мобильники нападавших перестали работать с момента открытия ворот. Только, предчувствуя победу, Павлуша успел доложить «наверх» о сдаче завода, как связь перешла в сплошной треск. Это умельцы из ЦИЛ^{*} включили направленный на площадь генератор-глушилку на частоте 915 мегагерц, на которой в их местности работали мобильники (на территорию завода излучение не попадало).

* Центральная измерительная лаборатория.

Когда у бойцов закончились патроны, а у Павлуши пропал голос, они впервые за все время боя задумались. Что делать? В городе, получив донесение, полагают, что их команда уже взяла под контроль завод, выгнала руководство и работяг, ведет учет материальных ценностей и прикидывает продажные суммы, а ночью закатят пьянку с бабами на отвоеванной территории. Отсутствие же связи объясняли техническими неполадками в местной сети «Инкомлайна».

Директор тем временем спустился с вышки, пешком дошел до заводууправления, поднялся к себе.

— Сводку погоды уточнял? — спросил он первым делом у начштаба. — Хорошо. Люди по местам?

— Так точно, товарищ директор!

— Хм-м, давай-ка, пока затишье, перекусим чем бог послал.

Оставшись без связи, Павлуша, одумавшись, послал двух здоровенных шоферов из иномарок. Они, матерясь, по пояс в снегу, обогнули заслон грузовиков и резво пошли по шоссе, скоренько одолели полкилометра до въезда в поселок, вошли в него по центральной улице... и пропали.

Долгополые замерзли и расселись по машинам. Бойцы за воротами скинули промерзшие бронешилеты и мрачно, молча топтались. Некоторые согрелись куревом.

Прошло два часа. Директор послал на вышку дежурного, сам же, выключив все телефоны, проводил оперативное расширенное штабное совещание.

* * *

Осажденный коллектив поочередно обедал в заводской столовой.

Не дождавшись подмоги, Павлуша послал следующую пару. Та тоже исчезла. Под вечер, поскольку шоферов уже не оставалось, послали двух самых молодых банкиров. Таким же маршрутом они дошли до поселка, пошли два квартала по главной улице и, увидев легковушку с водителем, скоренько сторговавшись за двадцатку баксов доставить их в город. Матерый водитель газанул, но уже через двести метров мотанул в проулок («Здесь быстрее, угол срежем»), а в проулке резко свернул в открытые ворота и остановился у подъезда здания с вывеской «Баня». Тотчас набежали здоровенные мужики, вытащили банкиров, завели в предбанник, раздели и запустили в общий зал, прикрыв дверь на засов. В моечном душном зале среди шаек и мочалок сидели на мраморных лавках шофера (двое уже храпели), пили водку и закусывали солеными огурцами.

— Садись, братва! Штрафную вам! — весело приветствовали они вошедших.

* * *

К ночи мороз двинул к тридцати. Павлуша вышел из машины, размахивая большим белым носовым флажком. Евгений Михайлович, зашедший с общей проверкой на вышку, не видел пока в темноте экс-зятя, но в глаза бросилось пламя в коробке за воротами: пытаюсь хоть как-то согреться, бойцы подожгли деревянный сортир. На морозе сухие доски ярко полыхали, стреляя брызгами. Стоял непрерывный треск в замороженном воздухе, красное пламя полыхало отсветом в полнеба.

— ...Вставай же! — будила его супруга, уже одиннадцать, переходи в спальню.

Евгений Михайлович разомкнул глаза; прямо перед ним в незашторенном окне-фонаре полыхал в полнеба отсвет сливаемого на окраинном металлургическом заводе шлака. Характерный треск вываливаемого на морозную землю шлака поглощал все иные звуки города.

— Ну, проснулся?

— Еще не вечер, Васильевна, еще не вечер...

Рудольф Артамонов
(г. Москва)

**ДОЧЬ РЫБАКА:
РАССКАЗ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА**



В конце пятидесятых годов Хаапсалу был местом дислокации воинской летной части.

Я, тогда студент четвертого курса одного из московских вузов, поехал навестить свою кузину, или, говоря попросту, двоюродную сестру. Она была замужем за офицером, и кочевая жизнь военного человека забросила ее семью в Эстонию. Ее муж служил в этой воинской части.

Выйдя из поезда в Таллине, подивившись на крепость Вышгорода, нависшую над привокзальной площадью, я сел в автобус и покатил в вышеназванный эстонский городок.

Для меня, жителя большого русского города и советского человека, никогда не покидавшего пределы этого самого города, за окном автобуса все было внове. Автобус выехал из Таллина узкими европейскими улочками, мимо домов, не по-нашему увитых вьющейся зеленью, и помчался, оставляя позади хутора и земельные участки, по меже разделенные рядами валунов, кирпичи, ничуть не похожие на наши разноцветные и праздничные православные церкви.

Все было не как «у нас». В автобусе говорили на непонятном языке. Лишь изредка слышалась русская речь. Потом я узнал, что Хаапсалу был сугубо эстонский город. Русские там были только военные да родители русских детей, лечившихся в местном курорте грязями от костного туберкулеза. Впечатление иного государства, «за-границы», для человека, никогда не бывавшего в настоящей загранице, было вполне реальным.

Автобус мчался и мчался по плоской эстонской земле мимо полей, перегороженных валунами, маленьких городков и мыз, хуторов, и спустя несколько часов остановился на площади под названием Выйт в самом центре Хаапсалу.

Сестра с мужем, майором, и сыном жила в отдельном доме, тоже увитым зеленью. Зная, что еду в «Европу», имел я при себе желтой кожи чемодан, занятый у знакомых, и был одет в костюмную пару с галстуком, который только мешал мне в дороге. Ботинки были в безукоризненном порядке. В грязь лицом я не ударил. Сестра придиричиво оглядела меня и осталась довольна моим видом. Они уже два года жили в Эстонии, стали европейцами и старались «держать марку».

Мне отвели маленькую комнату, выходившую окнами в полисадник, с кроватью и столом у окна.

Как водится, выпили «со свиданьем», и я был, за совершеннолетием, предоставлен сам себе.

Прежде всего, я отправился смотреть город. По нашим российским меркам он был невелик. Даже меньше иного райцентра. За пару часов я обошел его вдоль и поперек. Опрятен, ухожен. Но что сейчас, по прошествии многих лет ясно вспоминаю, так это обилие памятных мест и памятников. Видимо, в маленькой стране маленький

народ с особым усердием бережет память о самых даже незначительных событиях своей национальной жизни. Я насчитал с полдюжины бюстов совершенно не известных мне эстонских деятелей. Бюсты были все примерно одного размера — чугунные, выкрашенные в черный цвет на пьедесталах одинакового размера. Они стояли в многочисленных для маленького города скверах, на небольших площадях, перед общественными зданиями. Что сделали сии мужи, чьи бюсты отлиты в чугуне, для своего народа, мне было неизвестно. Деяния их вряд ли выходили по своей значимости за пределы страны или даже этого маленького городка. Но люди помнили о них и, чтобы сохранить благодарную память, поставили их чугунные бюсты. Статуй советских или партийных вождей в этом городе не было.

Мое русское сердце радостно забилося, когда я, обходя город, нашел на самом берегу моря «скамью Чайковского». Сентиментальнейший русский композитор, оказывается, бывал, или был однажды, в этом городке. Интеллигентные эстляндские граждане Российской империи в ознаменование этого события соорудили на месте, где по преданию музыкальный гений любил отдыхать, мраморную скамью. На спинке скамьи высечена нотная запись музыкальной пьесы композитора — «Воспоминания о Гапсале».

Русскому человеку свойственно испытывать нежные чувства, обнаружив следы внимания к русской культуре и искусству на чужбине.

В историческом центре городка я обнаружил самую настоящую достопримечательность. Это был средневековый замок, сложенный из серого камня, с башенками, узкими стрельчатыми окнами и бойницами. Окружал его парк со следами крепостного вала по периметру. Назывался это исторический комплекс по-эстонски «Лосси-парк», что значит — «Замковый парк».

Сейчас, спустя годы, я понимаю, почему именно в Лосси-парке произошли события, воспоминания о которых до сих пор милы мне, старому уже человеку. Место уж очень романтическое. Хотя бы потому, что замок сам по себе сооружение, относящееся к эпохе романтизма. А в юности — как же без романтики!

Все эти достопримечательности были маленькими, приятными открытиями. Самой же большой достопримечательностью, о которой я знал заранее и ради которой я решил провести летние каникулы в этом эстонском городке, было море.

До той поры я никогда не был на море и видел его только на картинах да в кинофильмах. Там оно либо ласковое и искрящееся под лучами солнца, либо волнуемое и штормовое, с перекатами водяных валов. Когда я вышел на берег эстонского моря, оно оказалось совсем иным. От плоского берега уходила вдаль плоская водная гладь какого-то неопределенного блеклого цвета, ровная, как стекло, без морщинок волн. Поскольку это был залив, справа и слева виднелись вдалеке тонкой полоской берега, и неоглядность, безбрежность, так присущая морю, угадывалась только впереди, где вода на далеком горизонте по цвету сливалась с таким же блеклым небом.

Вот собственно и все, что осталось в моей памяти о Хаапсалу спустя многие десятилетия.

Что еще я помню о том лете, помимо главного события, сделавшего этот городок столь для меня памятным?

Лето по прибалтийским меркам было хорошее. Тепло, солнечно, тихо. Море все дни оставалось ровным, как стекло, спокойным. Невысокие корявые сосны на песчаном берегу стояли неподвижно. Дождь моросил только ночью.

С книжкой в руках я уходил на весь день к морю. Купался, читал. В ту пору мо-лодежь «болела» Ремарком и Хемингуэем. Я прихватил с собой в Хаапсалу по два романа каждого из них. Чтение этих авторов на берегу моря и в городке, так напоминавшем Европу, доставляло особое удовольствие.

Если Ремарк для прочтения и сопереживания требовал некоторого, и специфиче-

ского, жизненного опыта, то Хемингуэй был по-настоящему «молодежным» чтением. Тогда он кружил наши головы свободой. Свободой на яхте бороздить морские просторы, охотиться на львов в Африке, любить красивых женщин и писать романы, сидя в парижском кафе. В наши головы тогда было внедрено несколько иное понимание этого слова — свобода.

Жизнь городка меня интересовала мало. Молодость эгоистична, замкнута на себя. Это сейчас я бы с интересом рассматривал хаапсалуских горожан, как они одеты, какие продукты есть на прилавках в магазинах и сколько они стоят, как живут, развлекаются, работают, что думают они о мировых событиях, о нас, русских, и о многом другом, что называется жизнью. Я бы непременно завязал знакомство с кем-нибудь из них, в магазине или кафе, таким же пожилым и солидным, и поговорил бы «за жизнь», чтобы сравнить с нашей жизнью и понять их жизнь.

Ничто это меня не интересовало тогда. Купание, чтение прихваченных с собой книг и кофе с густыми эстонскими сливками на открытой площадке малюсенького в три стола кафе на берегу моря — таким было мое времяпровождение день за днем. Особый, ранее никогда не испытанный шик был от того, что, взяв чашечку кофе, можно сколь угодно долго сидеть за столиком и читать. В те поры такое было недоступно в большом советском городе: все куда-то бестолково спешили, и если, закончив трапезу, засидишься за столиком, услышишь в свой адрес столь нелицеприятные выражения, что больше уже никогда не рискнешь изображать из себя доморощенно-го европейца.

Хаапсалу был малолюдный городок. Пляж в будни был почти безлюден. За день появлялись несколько человек, выкупаются и уйдут. Отдыхающих, как я, не было. В Хаапсалу приезжали только к родным или знакомым. Не помню, была ли там гостиница. Оттого, что в городе стояла воинская летная часть, он считался приграничным. От него на запад были только острова и открытое Балтийское море.

Если погода была «некупальная», я шел в Лосси-парк. В будни там тоже было малоллюдно. Молодые мамы катали коляски, чопорные старушки сидели на раскладных стульчиках, да ребяшня резвилась на большой поляне перед парадным подъездом замка. Ненадолго заходили мужчины выпить кружку пива у синего ларька, чужеродным телом осквернявшего это романтическое, окруженное крепостной стеной место. Я забирался на земляной вал, усаживался под деревьями. Когда чтение надоедало, начинали утомлять бесконечные диалоги хемингуэевских героев, я поднимал глаза от книги. С возвышения и замок, и большая поляна, и люди на ней представлялись большими театральными подмостками, на которых исполнялись сцены из спектакля под названием Жизнь. Странно, но я не могу вспомнить, что видел там влюбленные парочки. Место для уединения, к которому поначалу так стремятся юные Ромео и Джульетты, лучше и не придумаешь. Но их не было днем, не было и вечером. Сцены жизни были неполными, были лишены главного.

Так прошла первая неделя.

Русские семьи, как мне помнится, мало общались с местным населением. Офицерские жены сидели дома. В гости ходили друг к другу по воскресеньям. Помнится одно такое мероприятие.

На трех военных джипах, или, как вскоре после войны их называли, «виллисы», а позднее «козлы», мы отправились за город. Ехали вдоль берега моря. Воды не было видно за высокими камышами, но запах и легкий плеск ее чувствовался на протяжении всей дороги. Потом камыши расступились. Наши джипы въехали на большую поляну и расположились по ее периметру. Когда из машин выбрались все, оказалось человек пятнадцать — мужчины, женщины и дети. Четыре семьи — три офицерских и одна гражданская. Различить их было просто — офицеры все как один были в форменных рубашках без погон, шароварах от спортивного костюма и в сандалиях на

босую ногу. Жены и дети были одеты нарядно, во все заграничное — часть, в которой служили офицеры, когда-то дислоцировалась в ГДР.

Это сейчас я бесстрастно вспоминаю детали, а тогда происходящее было мне внове, и я вместе со всеми был захвачен желанием хорошенько развлечься.

На земле расстелили большую скатерть. Появились бутылки, много бутылок, и разнообразная снедь.

Пока устраивался «стол», я с мальчишками погонял мяч. К нам присоединились трое солдат. Шофера джипов. Они сняли сапоги, размотали портянки и с азартом лупили своими большими голыми ступнями по мячу. Потом они перекусили и ушли купаться и загорать. А меня и мальчишек позвали к «столу».

Офицеры, в том числе и мой зять, мужчины с кирпичного цвета крепкими лицами, пили много. Гранеными лафитниками, наполняемыми до самых краев. Осторожно, чтобы не расплескать, держа их двумя пальцами и оттопырив мизинец, они кистевым броском выливали их в рот, рывком запрокидывая голову назад. После этого кирпичные лица их морщились, они торопливо брали кусок черного хлеба, нюхали его, а потом уже подцепляли вилкой соленый огурец и громко, жуя, хрустели. Ели они тоже много.

— Пей, студент, — говорили мне.

Я, подражая им, тоже брал полный лафитник двумя пальцами, оттопырив мизинец и опрокидывал водку в рот. У меня получалось плохо. Водка не успевала влиться в мой рот и текла по подбородку. Они снисходительно смеялись.

Единственный гражданский человек, врач стоматолог, из местных, по имени Семен, пил, как и женщины, вино и развлекал общество солеными еврейскими анекдотами. Молодой, лет тридцати с небольшим, он, тем не менее, был толст и лыс со лба. Его жена, худенькая еврейка с большими грустными глазами, не смеялась, как все, над анекдотами мужа, а лишь снисходительно улыбалась. Офицеры после каждого анекдота говорили: «Ну, Семен, ты даешь».

Не помню, сколько лафитников водки я выпил. Через час сидения за скатертью почувствовал, как голова у меня стала тяжелой и меня поташнивает. Пить больше я не мог.

— Хватит, братец, — сказала мне сестра. — Пойди покупайся.

Я встал, пошатываясь, пошел к воде. За мной увязались мальчишки. Мы купались, шумно плескаясь, перекидывая друг другу мяч. В воде мне стало легче. У ребят уже посинели губы, а мне не хотелось выходить. Они выбрались из воды. Я поплыл от берега. Вдали виднелась яхта под белым парусом. Мне показалось, что она недалеко, и я решил до нее доплыть. Я плыл и плыл, но она не становилась ближе. Мне стало холодно. Обернувшись назад, увидел, что заплыл слишком далеко, и испугался.

Из последних сил добрался до берега и вышел из воды, усталый, но совершенно трезвый.

На поляне у скатерти я застал следующую сцену. Осовелые офицеры ритмично хлопали в ладоши, а Семен, грузный и неуклюжий, отплясывал. Живот его трясся в такт подпрыгиваниям. Он хлопал себя руками по толстым ляжкам, груди и пяткам. Женщины смеялись. Его жена, Эсфирь, снисходительно улыбалась. Ребятишки прыгали вокруг пляшущего Семена.

— Студент, штрафную! — потребовали офицеры.

Я выпил. Тепло разлилось по телу. Я согрелся.

Отплясав, Семен сел на землю, тяжело дыша.

Пикник закончился, когда один из офицеров уснул, упав головой на скатерть.

Женщины стали собирать пустые бутылки, остатки еды. Мужчины, пошатываясь, направились к машинам. Вместе с солдатом-шофером мы погрузили отключившегося офицера в джип. Машины тронулись и поехали в город вдоль заросшего камышом

берега моря. Голова пьяного офицера на моем плече моталась, как арбуз на блюде. Но деваться было некуда, в машине было тесно.

Так закончился один из уикендов в маленьком эстонском городке на берегу моря в компании офицеров и врача стоматолога из местных.

После этого снова наступили будни одинокого отдыхающего: купание, чтение книг, чашечка кофе с густыми эстонскими сливками и сидение в Лосси-парке.

И вот наступил день, когда сестра сказала мне: «Сходи сегодня вечером в Лосси-парк. Там будет Вальгедам — белая женщина».

Она рассказала мне, что раз в году один только день, точнее ночь, в окошке старой крепости появляется силуэт женщины в белом одеянии. Он появляется всего на несколько минут. Чтобы зрелище состоялось, должна быть ясная ночь и полная луна.

Это все, что я знал о местном чуде, отправляясь вечером, когда уже стемнело, в Лосси-парк посмотреть на еще одну достопримечательность эстонского городка.

Вечер был ясный, что предвещало лунную ночь и явление Белой женщины.

Уже на подходе к парку ощущалось необычное для тихого городка оживление. Парам и группами туда направлялись взрослые мужчины и женщины, дети разного возраста, молодые люди.

Войдя в кольцо земляного вала, я увидел, что публика распределилась по территории парка неравномерно. Склон напротив одной из угловых башен был сплошь занят, напоминая театральные амфитеатры. Сидели на земле. Тихо переговаривались. Быстро темнело. Воздух наполнялся таинственностью и ожиданием.

Я забрался на вершину земляного вала. Места, где можно было бы сесть, я не нашел и остался стоять вместе с другими приподнявшимися. Как раз напротив меня была башня и узкое арочное окно.

— Куда надо смотреть? — спросил я стоявшую рядом девушку.

— Здесь, — сказала она и показала рукой как раз на это арочное окно.

По ее ответу я догадался, что она эстонка.

— И что там будет?

— Будете видеть, — последовал лаконичный ответ.

Юная эстонка явно не была расположена поддерживать разговор.

Стало совсем темно. Из-за вершин темных деревьев, окружавших парк, показался округлый краешек желтой луны.

Публика оживилась, кто-то даже захолопал в ладоши.

Луна стремительно поднималась все выше и выше. Чувствовалось, как напряжение массы людей нарастает. Стало совсем тихо.

Я стал смотреть туда же, куда смотрели другие — на арочное окно.

И вот раздалось общее — «ах!». И легкий шелест непонятных эстонских слов пробежал над сидящей на склоне земляного вала публикой.

В проеме окна сначала стала видна только половина белой фигуры, а потом медленно и неуклонно она явилась вся целиком. При наличии известной фантазии можно было вообразить, что она принадлежит женщине, одетой в белое, ровно ниспадающее вниз платье. Деталей лица не было видно. Это был силуэт.

В молодости впечатлительный, я с волнением смотрел на диковинное явление. Потом я понял, что это всего лишь оригинальный световой эффект, возникающий при определенном расположении друг к другу окна и луны. Поэтому и бывает он раз в году, когда ночное светило, непрменный атрибут романтических историй и ситуаций, выходит на определенную точку траектории своего движения. Но тогда я смотрел на «Белую женщину» во все глаза и разделял радость и удивление окружавших меня эстонцев.

Видимо, выражение лица столь явно обнаруживало мои чувства, что стоявшая

рядом со мной эстонская девушка, так неохотно отвечавшая сначала на мои вопросы, теперь сама спросила:

— Вам нравится очень?

— Мне очень нравится,— ответил я, делая ударение на слове «нравится» и, давая тем самым понять, что она неправильно говорит по-русски.

Она не обиделась, потому что сказано это было с дружеским передразниваем, и улыбнулась в ответ.

Между тем силуэт Белой женщины начал уходить. Он вновь стал виден только наполовину. Затем, медленно, как движется минутная стрелка часов, исчезла и вся фигура.

Публика осталась сидеть на земляном валу. Лишь мамы и папы с детьми двинулись к выходу. Я тоже не торопился уходить. Не уходила и эстонская девушка, стоявшая рядом со мной.

— Как жалко, что все так быстро закончилось,— сказал я.

— Отсень жалко,— охотно откликнулась она, и я понял, что она, как и я, желала, чтобы явление Белой женщины продолжалось как можно дольше, и мы могли бы и дальше стоять рядом.

Не знаю, почему я так решил, но последующие события показали, что я был прав.

Мы еще постояли, а потом медленно пошли.

В тот памятный вечер, вернее памятную ночь, мы ходили и ходили по земляному валу.

Я узнал, что явление, которое мы только что видели в окне замка, по-эстонски называется «вальгедам».

— Не вальгедам, а валгедам,— поправила меня она.

Что в переводе это означает вовсе не «белая женщина», а «белая дама».

— Ну, конечно же, дама! Как я сам не догадался, что в замках живут не женщины, а дамы,— охотно согласился я.

— Зенсина — это неправильно,— сказала она.

Меня забавлял ее эстонский русский язык. Я не поправлял ее, боясь обидеть.

Мы долго ходили по земляному валу, делая круг за кругом по периметру парка, развлекая друг друга русскими и эстонскими словами. Теперь я уже не боялся поправлять ее. Она же, поняв, в чем состоит наша игра словами, поправляла меня с азартом ребенка. Я уже тогда понял, что она очень молода. Мне в ту пору был двадцать один год. А ей — шестнадцать или семнадцать. Разница для таких лет весьма существенная. Вот почему она казалась мне большим ребенком. Через год я узнал, что не ошибся — в то лето ей было семнадцать.

Публика понемногу расходилась. Ночь стала светлеть.

— Я идти домой,— сказала девушка.

— Как вас зовут?

— Ильма.

Я тоже назвался.

Всю эту ночь мы ходили рядом и редко взглядывали друг на друга. Теперь мы стояли друг перед другом. Я, наконец, увидел лицо девушки совсем близко. В блеклом свете раннего эстонского утра ее лицо показалось мне прекрасным. На меня смотрели большие, синие глаза.

— Нягемисини,— сказала она.

Она торопилась уйти. Может быть, ее уже ждали дома? Может быть, она боялась решительных действий с моей стороны?

— Что это означает? — спросил я.

— По-вашему — до свидания.

— По-нашему это означает, что у нас с вами еще будет свидание. Мы увидимся?

— Завтра валгедам есе будет в Лосси-парк,— последовал ответ.

Я предложил проводить ее, но она отказалась. Я не стал настаивать. Сейчас мне кажется, что Ильма вела себя со мной как с иностранцем. Или, может быть, из-за разницы лет я казался ей взрослым человеком. Особенно чувствовалась дистанция в самом начале этого необычного вечера. Перед расставанием же дистанция между нами несколько сократилась, но все равно я еще боялся форсировать события. Честно сказать, мне не хотелось «ударить в грязь лицом», показаться эстонской девушке грубым, неотесанным русским.

Пустынными улицами, все отчетливее проступавшими в утреннем свете, я отправился домой.

Дома, улегшись в постель, я долго не мог уснуть. Перед глазами стояла Белая дама и эстонская девушка Ильма. Они были чем-то похожи друг на друга. Ильма была в белом платье, и белые волосы у нее ниспадали до плеч.

Я заснул, когда уже почти совсем рассвело. Последнее, что я помню, перед тем, как уснуть, была песня. Мимо дома проходили парни и девушки и пели. Пение было стройным, на голоса. Это была не протяжная русская мелодия, а бодрая, маршеобразная песня, никак не гармонирующая с моим мечтательным настроением. Сначала мне показалось, что где-то включили радио. Но звуки удалялись постепенно и стихли совсем. Я уснул.

Следующего вечера, вернее ночи, я ждал с нетерпением.

Днем я послонялся по городу в надежде где-нибудь увидеть девушку. Затея оказалась пустой. В этом городке вообще было мало людей молодого возраста. А те девушки, которые попадались мне на улице или в кафе, были, честно сказать, далеко не красавицами. Потом, приезжая в Эстонию не один раз, я понял, что среди молодых эстонков редкость изящная фигура и мягкое женственное лицо. Ильма была исключением. При наших последующих встречах я убедился, что, несмотря на блеклый свет эстонского утра, в которое состоялось наше знакомство, первое впечатление о ее красоте меня не обмануло.

Конечно, встретить ее на улице мне не удалось. Я отправился на пляж. Среди редких купальщиков я заметил бы ее сразу. Но ее не было. Оставалось скучное лежание на пляже и вялое, безынтересное чтение. У меня не было уверенности, что она придет. Но ответ ее — «завтра валгедам есе будет в Лосси-парке» — казался мне намеком на свидание.

Чтение было рассеянным. Хемингуэевские сюжеты никак не подходили к моей ситуации. Американцы, напористые и энергичные, на всех континентах чувствовали и вели себя как хозяева. Туземные девушки падали к их ногам, а туземных парней они поили виски и, если те становились на их пути, сокрушали мощным ударом в челюсть.

Здесь же, в Эстонии, я в то лето чувствовал себя как в гостях у малознакомых и не очень обрадовавшихся мне людей. Я имею в виду не мою сестру и ее семью. В молодости я был не самым безобразным из русских двадцатилетних парней, и эстонские, редкие в этом городке, девушки посматривали тогда на меня не без любопытства. Но стоило мне открыть рот и произнести несколько русских слов, как они сразу утрачивали ко мне интерес. Самые бойкие из них передразнивали меня, говоря непонятные мне эстонские слова. Только в кафе на пляже пожилая эстонка, официантка, через неделю стала приветливо мне улыбаться, когда я приходил выпить чашечку кофе с густыми эстонскими сливками. Она говорила мне — «тере» или «тере хоммикуст», если я приходил утром, и «тере ыхтуст» — если вечером. Я понял, что это означает «доброе утро» и «добрый вечер». Между нами наметилась даже некоторая симпатия. Мне кажется, что она стала наливать мне больше сливок, после того как я стал приветствовать ее по-эстонски. Уходя из кафе, я говорил «тянан» — спасибо, и ее красное полное лицо расплывалось в улыбке.

Наконец, наступил вечер.

Я надел свежую рубаху, попрыскался зятевым «шипром» и отправился в Лосси-парк.

Все было как накануне. Только народу было меньше. Так же сидели на склоне земляного вала напротив башни, в окне которого вчера явилась Валгедам. Свободного места было много. Я не стал садиться, а поднялся на земляной вал, туда, где прошлой ночью стоял рядом с Ильмой.

Ее не было. Настроение сразу упало. Потом мне пришла в голову спасительная мысль — Ильма появится вместе с Белой Дамой. Я успокоился и стал ждать явления чуда.

Так же, как накануне, из-за темных вершин деревьев показался округлый краешек желтой луны. Так же быстро она стала подниматься в зенит. И когда достигла зенита, в стрельчатом окошке показалась Белая дама. Но в эту ночь ее силуэт был ущербным, был меньше и тоньше. Ущербным был и диск луны. Это все я заметил потом. В тот момент, как в окне показалась Валгедам, рядом с собой я почувствовал Ильму. Я обернулся. Это была она.

— Я придти,— сказала она и смущенно улыбнулась.

— Тере ыхтуст,— сказал я.

— О! — был мне удивленный и радостный ответ на мое эстонское приветствие.

Я быстро понял, что завоевать расположение девушки можно, проявив интерес ко всему эстонскому, особенно языку. Ей нравилось выступать в роли учителя этого русского парня. Мне нравилось доставлять ей удовольствие.

Валгедам угадала в узком стрельчатом окне башне быстрее, чем вчера. Ее слабая тень всего на несколько минут явилась и растаяла. Оконный проем снова стал безжизненным и темным.

Публика стала довольно быстро расходиться. К моему удивлению Ильма тоже заторопилась. Длительной прогулки по парку вокруг замка, как в прошлую ночь, не получалось. Мне казалось, что девушка была не прочь погулять подольше, но что-то заставляло ее уйти. Мы вышли из парка. На том месте, где мы вчера расстались, она ничего не сказала, и я продолжал идти с нею рядом. Мы пересекли площадь перед крепостью и вошли в узкую улочку. Было пустынно и тихо. Редкие фонари скудно освещали тротуар вокруг столбов. Я старался идти как можно медленнее, но Ильма торопилась.

На пересечении улиц она остановилась.

— До свидания,— сказала она и протянула мне руку.

— Нягемисини,— ответил я по-эстонски.

Я до сих пор помню ее руку. Обычно молодые девушки подают для рукопожатия кончики пальцев. Холодные, жесткие, как прутья, или невыразительные и вялые, как вата.

Рука Ильмы была нежной и теплой, она вложила свою крупную ладонь в мою руку целиком, сжала ее и, показалось мне, не торопилась отпустить.

— Нягемисини,— повторил я, теперь уже в свою очередь, не отпуская ее нежную ладонь,— мы увидимся?

— Мы увидимся. Недолго. В Лосси-парк. Я идти.

Она мягко, но решительно высвободила свою руку из моей, свернула в переулок и быстро пошла. Я смотрел ей вслед. Она свернула в следующий переулок и исчезла.

Тогда, в то далеко ушедшее время, я по молодости лет был разочарован взрослой самостоятельностью эстонской девушки. Я чувствовал, что нравлюсь ей. Иначе она не пришла бы во второй раз в Лосси-парк. Не протянула мне доверчиво руку. Не обещала нового свидания. А если нравлюсь, почему надо бежать от меня. У нас девушки гуляют с парнями летом до утра, встречают рассвет, сидя, обнявшись где-

нибудь в парке или другом романтическом месте. При этом даже совсем не обязательно, чтобы была пылкая любовь. Молодость берет свое. И в ней, молодости, должно быть все: и прогулки при луне, и поздний приход домой украдкой от уставших ждать родителей, и свидания, частые, как взволнованное дыхание. А здесь эстонская девушка только и думает, как бы поскорее уйти от меня при явном ее ко мне неравнодушии.

Неужели ей не интересно хотя бы просто пообщаться с парнем, приехавшим из, наверняка, совершенно незнакомого ей мира? Примерно так думал я тогда, медленно возвращаясь в дом моей сестры по пустым, тихим улочкам маленького эстонского города.

Мои ночные гулянья не остались незамеченными моей сестрой.

— Братец, кажется, нашел себе девушку? — спросила она меня на другой день.

Я рассказал о своем знакомстве с Ильмой. Видимо, в моем рассказе сестра почувствовала недоумение, которое испытывал я от необычного поведения эстонской девушки.

— Русских здесь вообще не очень жалуют, — сказала мне сестра. — Ты, наверное, это сам почувствовал. Мы здесь живем уже третий год, а знакомых среди местных у нас почти нет. Может быть, потому, что мы — военные. К гражданским они относятся лучше. Сколько лет твоей зазнобе?

— Я думаю, лет семнадцать, может быть, шестнадцать.

— Тогда ясно, — сказала сестра. — Не знаю точно, во сколько лет, здесь девушки проходят какой-то церковный обряд. Если я не ошибаюсь, он называется конфирмация. А до этого им с парнями встречаться нельзя.

— И все девчонки придерживаются этого правила?!

Я был искренне удивлен. Чтобы такое — в советское время! Сейчас, на склоне лет я думаю иначе. Тогда же мне эта конфирмация казалась нелепицей, едва ли не средневековым бредом, которому не может быть места в современном обществе, понимаемом, конечно, весьма своеобразно. Препятствие к свиданиям с Ильмой мне казалось ничтожным. Если, конечно, причина ее стремительных уходов от меня был именно в этом.

Следующий день выдался пасмурным. Прибалтика есть Прибалтика. С утра моросило, но было тепло. К полудню распогодилось, выглянуло солнце. Не яркое и обжигающее, какое оно на юге, а тускло светившее, как через матовое стекло.

По привычке, или от нечего делать, я пошел на пляж. Он был пуст. Берегов по бокам залива видно не было, серое море сливалось с серым небом. Мое русское сердце затосковало.

Поразительно, как настроение русского человека зависит от того, ясно или пасмурно на улице. Поскольку русская погода по большей части пасмурная, серенькая, дождливая, морозящая, а яркие солнечные дни бывают редко и скоротечны, настроение у нас чаще минорное, а то и попросту вялое, а веселье наше взрывное и буйное и скоротечное тоже.

Эстонская погода мало, чем отличается от нашей. Разве что серых, дождливых дней больше. А песни здесь бодрые, веселые. Правда, без удали и бесшабашности некоторых наших. Зато грустных, а тем более тоскливых песен мне в Эстонии слышать не приходилось. Отчего это? Даже в ясную лунную ночь первого явления Белой Дамы в окне замка песня, слышанная мною на улице этого эстонского городка, была не мягкая и лирическая, а, хоть и мелодичная, однако же, бодрая, почти маршеобразная.

Может быть только сейчас, пожилым человеком, я задаюсь этими вопросами. Наверняка тогда, в тот пасмурный день мои мысли были о другом. Я с тревогой поглядывал на небо. Если пасмурная погода продлится до вечера, до ночи, Белая

Дама не явится в замке, и, следовательно, Ильма не придет. Это тревожило меня больше всего.

На пляже делать было нечего. Вода была теплая, но лезть в нее не хотелось. Я ушел с пляжа.

В городке тоже было пустынно. Дома, по преимуществу одноэтажные и деревянные, были какие-то странные. Казалось, что они без фундамента, окна располагались довольно низко над тротуаром. Входные двери почти без крыльца, максимум две-три ступеньки. Открывай и входи с улицы, как из одной комнаты в другую. Окна большие. Не как у наших деревенских изб.

Я брел и брел бесцельно по чистым улицам эстонского городка и вышел на небольшую площадь. Главным зданием на ней была церковь. Я не сразу догадался, что это церковь. Особыми архитектурными деталями оно не отличалось от других зданий на этой площади. Только лаконичный западный крест над фронтоном. Никаких нищих перед входом, как у наших церквей, не было. Никто не входил и не выходил. Дверь была открыта, из глубины доносилось стройное пение. Я вошел.

Играл орган. Люди стояли и, держа в руках книжки, пели. Когда пение закончилось, они сели. Я тоже сел на лавку. На меня строго и вопросительно посмотрела сидевшая рядом пожилая женщина с короткими прямыми седыми волосами. Взгляд ее бледно-синих глаз был неприветлив.

Служба шла на эстонском языке.

Когда моя соседка по лавке отвела от меня взгляд своих строгих бледно-синих глаз, я стал рассматривать публику. Опрятно одетые пожилые женщины и мужчины составляли большинство. Их сухие лица были сосредоточены. Больше всего меня интересовало, есть ли молодые люди. Они были. Немного, но были. Я стал искать глазами Ильму. Она вполне могла быть здесь. Сидевшие со мной в одном ряду были видны мне только с затылка. Среди них с белыми, распущенными по плечам волосами, как у нее, не было. Сидевшие в другом ряду через проход посередине были видны мне лучше. Я видел их в профиль. Мне показалось, что я нашел Ильму. Такие же крупные руки, спокойно лежащие на коленях, волосы, спадающие до плеч. Видимо, мой пристальный взгляд обеспокоил девушку. Она повернула ко мне лицо. Это была не Ильма.

Дождавшись, когда прихожане, производя легкий шум, поднялись для пения, я, стараясь не быть замеченным, вышел из церкви.

К вечеру не распогодилось. Оправдались мои опасения — ночь наступала пасмурная и безлунная. Никакого оживления перед Лосси-парком не было. Площадь перед входом в него была пустынна. Ждать явления Белой Дамы, пусть даже в еще более ущербном виде, чем накануне, было бесполезно. А, значит, Ильма не придет.

Подождав, сам не зная чего, я хотел было идти домой, но почему-то пошел в ту улицу, по которой накануне провожал Ильму. Я шел медленно. Голова моя была апатично пуста. Заморосил мелкий дождь. Я уже собирался повернуть обратно, как впереди увидел торопливо идущую девушку в белом плаще. Белые волосы ее ниспадали до плеч. Это была Ильма.

— Хорошо, что ты идти ко мне. Валгедам не будет.

Не знаю, как получилось, я обнял ее. Она ответила мне объятием.

До сих пор помню это первое объятие. Оно длилось мгновение. Через мгновение Ильма отстранилась от меня так решительно, что я не успел задержать ее в своих руках.

— Я больше не придти,— сказала она грустно.

— Почему?

— Нельзя.

— Почему?! — в это свое второе «почему» я вложил все свое возмущение и про-

тест, потому что был уверен, что «нельзя» это следствие того самого религиозного обряда, какого-то нелепого пережитка, которым можно и нужно пренебречь, если есть, а оно уже, несомненно, есть, взаимное влечение друг к другу.

Мы стояли в свете уличного фонаря. Мне хорошо было видно лицо Ильмы. Она смотрела на меня, как смотрит взрослый человек на чего-то не понимающего ребенка.

— Хорошо. Дай мне, пожалуйста, свой адрес. Я буду писать тебе. Или это тоже нельзя? — Я был по-детски груб.

— Нельзя, — грустно сказала Ильма.

Мы стояли и смотрели друг другу в глаза. Вглядываясь в большие синие глаза девушки, я все отчетливее понимал, что чтобы я ни говорил, чтобы ни делал, ничто не изменит ее решение. Что она сама не может изменить это решение. А может быть, даже не хочет изменить.

Поняв это, я сник.

— Ладно. Я оставлю тебе свой адрес? Может, напишешь когда...

Я достал из кармана пиджака записную книжку, написал свой адрес, вырвал листок и протянул его Ильме.

Она взяла его.

— Я иди, — сказала она.

Я думал, что на прощание она обнимет меня или хотя бы позволит обнять себя. Ведь расстанемся, судя по всему, навсегда. Нет, она протянула мне только свою нежную крупную ладонь.

Потом повернулась и быстро пошла в темноту улицы. Затем свернула в переулок.

Я тоже повернулся и пошел в другом направлении.

Неожиданно распогодилось. Дождь перестал накрапывать. Выглянула луна. Лик ее не был полным, но на улице стало светлее.

Я вышел на площадь перед Лосси-парком. Не знаю почему, решил зайти. В парке никого не было. Поднялся на земляной вал перед угловой башней. Взглянул на арочное окно. Белой Дамы, конечно, не было. Вместо нее в окне была тонкая светлая полоска, как свеча. Все, что осталось от Белой дамы. Луна переместилась, и через мгновение белая полоска исчезла.

На другой день я засобирався домой.

Сестра не удерживала меня. Погода испортилась, и она сказала, что это надолго. Кажется, к тому же она поняла, что мое знакомство с эстонской девушкой «потерпело фиаско» и отговаривать меня от скоропалительного отъезда тем более нет смысла.

Я собрал свой желтый кожаный чемодан, начистил ботинки, но галстук надевать не стал. Распростившись с сестрой и ее домочадцами, на площади Выйт я сел в автобус и мимо странных домов без фундамента, чугунных бюстов эстонских деятелей городского масштаба и церкви, непохожей на церковь, выехал из маленького эстонского городка Хаапсалу.

* * *

Прошел год.

По мере удаления от Хаапсалу, потом от Таллина и по выезде из Эстонии на поезде мысли об Ильме, маленьком эстонском городке и загадочной Белой даме, являющейся ночью в старинном замке, постепенно вытеснялись делами и другими мыслями.

В течение года я все реже и реже вспоминал о неудачном летнем приключении. В продолжение знакомства с девушкой мне не верилось. Я даже не знал ее адреса.

Оставалось только ощущение странности происшедшего. Оно не было похоже на то, что я знал об отношениях со своими сокурсницами в институте или другими девушками.

Но должен признаться, что по мере отдаления во времени этого эстонского лета мое недоумение и даже раздражение постепенно уходило. В те редкие моменты, когда я вспоминал Ильму, я вспоминал ее со все более светлым чувством. Мы не ходили в обнимку, не целовались на улице, не сидели на лавочке при луне, не ходили на танцы или в кино. Может быть, это, как раз, скорее забылось бы. Из-за своей обыденности и привычности. С Ильмой же было связано ощущение чего-то подлинного, натурально-го — и препятствия, ставшего между нами, которое мы не смогли преодолеть. Это напряжение не реализованного чувства и было самым сильным переживанием той поры.

Это сейчас, умудренный житейским опытом, я могу словами как-то выразить то, что чувствовал тогда. А сорок лет назад, именно столько прошло времени, я вспоминал Ильму, Хаапсалу все реже, но с необъяснимым удовольствием.

Год прошел. Закончился пятый год обучения в институте.

Я собирался в туристский поход. В конце пятидесятых это был популярный у студентов вид отдыха. Он был дешев и демократичен. Сколачивали группу человек в десять. Намечали маршрут. Запасались нехитрой провизией — банки тушенки, сгущенки, непрменная манка — манная крупа, из которой за пять минут можно приготовить кашу. Что еще? Палатка, «спальник» — спальный мешок, телогрейка, кирзовые сапоги. В поезде, в общем вагоне занимали третью, самую верхнюю полку — и к исходному пункту маршрута.

В тот год мы собирались идти на Валдай.

Я не знаю, ходит ли сейчас современная молодежь в походы, но тогда для нас это был самый доступный способ поехать по стране, повидать интересные места. Костер. Песни под гитару. Эдакая мужественность в преодолении тягот походной жизни, и девчонки, так же, как и мы, в телогрейках и кирзовых сапогах — верные и надежные подруги. Легкое любовное увлечение, украшенное романтикой похода. Романтики — подлинной и придуманной — хоть отбавляй.

До похода оставалось десять дней, и я решил съездить в Ленинград. Меня звал мой друг. В этом городе я никогда до этого не был. Эрмитаж, Царское село, Петергоф, Исакий — для меня это были тогда только звучные слова, неосозаемые символы истории. В общем, я сразу согласился, собрался и поехал в Ленинград.

Что и говорить, я был потрясен красотой и величием города. Потом я многократно бывал в Ленинграде. И каждый раз, не скрою, хотя, может быть, это и весьма банальное чувство, был горд за свою страну и народ, создавший такой город. Теперь ему вернули прежнее имя — Санкт-Петербург. От этого он не стал краше или лучше, но от этого он стал «стариннее», дороже сердцу, как антикварная вещь, пусть и с поблекшей позолотой.

Прошло всего пять дней моих восторгов от созерцания Ленинграда, как я получил из дома письмо. В конверте было два листка. В одном моя мама писала, что получила какое-то странное письмо на мое имя, ничего не поняла и посылает его мне.

Второй листок был от Ильмы.

На хорошей бумаге аккуратным — европейским — почерком было написано:

«Скоро обратно будет Белая Дама. Хотите посмотреть? Ильма».

И больше ничего. Ни обратного адреса, ни фамилии, ни даты.

Я бросился звонить домой. Мама сказала, что письмо пришло на другой день после моего отъезда, а конверт она выбросила, и адрес не запомнила.

Все равно я решил ехать в Хаапсалу.

Друг, зная, как мне понравился Ленинград, был удивлен моему раннему отъезду.

От Ленинграда до Таллина близко, несколько часов езды на поезде.

Снова, как год назад, нависающий над привокзальной площадью Вышгород, автобус, мчащийся мимо хуторов и полей, перегороженных валунами, плоская эстонская земля и площадь Выйт в маленьком Хаапсалу.

Сестра была премного удивлена моему неожиданному появлению, так как я даже не догадался послать вперед себя телеграмму. Поняла все с полслова.

— Братец, кажется, не на шутку влюбился,— сказала она.

Я не стал возражать.

«С чего начать?»,— думал я, выйдя из дома после перекуса и краткого отдыха с дороги.

Ни адреса, ни фамилии я не знал. Наверное, Ильма не единственная девушка в городе с таким именем.

Побродив по городу, я пришел на пляж к знакомому, в три столика кафе.

— Тере,— сказал я толстой, с красным лицом эстонке, стоявшей за стойкой.

— Тере,— сказала она без всякого выражения, но, взглянув на меня, и, видимо, узнав во мне прошлогоднего «завсегдатая» своего заведения, расплылась в улыбке и, как короткая пулеметная очередь, приветливо сказала: «Тере-тере».

Мое знание эстонского ограничивалось приветствиями. Знание русского моей доброй эстонской подругой, скорее всего, ограничивалось несколькими фразами, необходимыми для обслуживания редких русских посетителей. Разговор состояться не мог. Да и о чем было спрашивать? Где живет девушка по имени Ильма? Сколько их в городе!

Выпив две чашечки кофе с густыми эстонскими сливками, я сказал: «Тянан. Ня-гемисени», чем заслужил еще одну улыбку толстой краснолицей эстонки, и покинул кафе.

На пляже были редкие купальщики. Купаться не хотелось, да и плавок у меня не было, так как в Ленинград я ехал посмотреть город, а не купаться.

«Ничего себе — ситуация»,— думал я.

Вечером, дома, улегшись на кровать одетый и с обутыми ногами, я взял в руки письмо Ильмы и еще раз прочел: «Скоро обратно будет Белая Дама. Хотите посмотреть?»

Я тупо перечитал эту строчку несколько раз. И тут меня осенило.

Я даже вскочил с кровати.

«Конечно же! Я увижу ее в Лосси-парке».

Наше свидание состоялось у Белой Дамы.

Так же, как и год назад, с наступлением темноты к парку и замку стал стекаться эстонский люд. Так же на земляном валу напротив угловой башни с арочным окном амфитеатром расположилась публика, ожидая появления привычного чуда. Так же, как и год назад, ночь была ясная и лунная,

Я был весь нетерпение. Больше всего я боялся, что моя догадка неверна. Что письмо Ильмы не приглашение к свиданию, а просто так — письмо скучающей девушки, не знающей, чем себя развлечь. Может быть, она стоит сейчас с подругами поодаль, невидимая мне, и развлекается созерцанием русского недотепы, клонувшего доверчиво на ловкую шутку.

Нет. Ильма пришла, не таясь. В том же белом платье, с волосами, ниспадающими на плечи.

— Тере,— сказала она и вложила в мою руку свою нежную крупную ладонь.

Мы не стали дожидаться явления Валгедам и сразу ушли из парка.

В ту ночь мы расстались под утро.

Не стану рассказывать подробно, как пролетела эта неделя. Именно пролетела. Как один, но счастливый день.

За прошедший год Ильма повзрослела и стала еще красивее. Прошлым летом это была рано развившаяся девочка, хоть и осознававшая свою красоту, но еще робкая, неуверенная в себе, как подросток, боящийся сделать что-то не так. Теперь это была взрослая девушка.

Когда мы оказались в темноте улицы, я привлек ее к себе и обнял, она, нисколько не смутившись, ответила крепким объятием. Она призналась, что ждала этой встречи и была уверена, что я приеду. Во всем ее облике и поведении была теперь уверенность, сознание своей привлекательности. Мало того, в ней не чувствовалось никакой провинциальности, заискивания перед «мальчиком из столицы». Любопытство, да, было. Как если бы я приехал из другой страны.

Мы с жадностью расспрашивали друг о друге и охотно рассказывали друг другу о себе самих. Я узнал, что ее отец рыбак. «Ты дочь рыбака?» — сказал я, удивленный литературной романтичности ее происхождения. «Да, — просто ответила она, — по-эстонски «калюри тюттар». Ей очень хотелось, чтобы я знал как можно больше эстонских слов.

«У меня есть сестра, Розильда, — сказала она и добавила, — тоже отсень красивая». Милая Ильма! Она знала о своей красоте, редкой у эстонских девушек. Я сейчас даже думаю, что осознание этого своего качества делало ее не только уверенной в своих отношениях с русским парнем, но наделяло ее некоей избранностью и правом на необычную для эстонских девушек дружбу. И в этой дружбе она хотела быть равной своему русскому другу.

С детской непосредственностью Ильма искала, в чем бы превосходить меня. Она прекрасно плавала. Я был посредственный пловец. В соревновании я уступал ей. Я отставал, она обгоняла меня и была этому очень рада. Когда я доплывал до нее, то, признавая ее «победу», целовал ее в соленые от морской воды губы, а она говорила — «я тсемпион».

Я в молодости был худ и нескладен. Ее тело было прекрасно. Все в плавных линиях, словно созданное для плаванья. На пляже я размещал свою костлявую фигуру поближе к ней, касался ее плеча, стройной ноги, и она не отодвигалась от меня, создавая, наверное, привлекательность для меня своего тела и ту радость, которое это прикосновение мне давало.

Я не преминул спросить ее о подтверждениях. «Да, это так», — просто и лаконично сказала она. Прошедшей зимой ей исполнилось восемнадцать. Мне стала понятна ее робость прошлогодним летом и спокойная уверенность в себе летом теперешним.

Мы виделись каждый день.

И все же она была еще ребенок. И как ребенок, ни в чем не хотела уступать мне, русскому. Ни на минуту, в разговоре, поведении она не забывала, что она эстонка. Через несколько дней, когда мы узнали друг о друге все, что могут рассказать о себе еще совсем недолго прожившие на свете молодые люди, между нами стали разгораться дискуссии о достоинствах наших двух народов — эстонского и русского.

Я с удовольствием вспоминаю теперь эти милые дискуссии, как с удовольствием вспоминаю все, что было тогда между мною и этой необычной эстонской девушкой. Когда у меня не хватало аргументов защищать недостатки русского национального характера, наш неряшливый быт и беспорядочное воспитание, я охотно «сдавался» на милость моего прелестного «победителя», привлекал ее к себе и длительным поцелуем останавливал перечисления достоинств эстонского народа. А когда поцелуй оканчивался, я шептал ей на ухо: «А зато у нас есть Толстой и Чайковский». Тогда в свою очередь она останавливала мои аргументы, закрывая мой рот своей нежной крупной ладонью.

Маленький эстонский городок мало давал возможности для развлечения молодым людям. По вечерам улицы были пустынно и темны. Кинофильмы шли только в курзале и единственном кинотеатре. Насладившись вдоволь уединением в темных улицах и на берегу моря, мы шли в кинотеатр. Кажется, за ту единственную «нашу» неделю удалось посмотреть только один фильм. Но зато какой! В те годы нам мало показывали заграничных фильмов. «Серенада солнечных долин», а второй, из загра-

ничных, был «Большой вальс». Именно его мы смотрели с Ильмой в то лето. По-эстонски он назывался «Суур ваалс». Фильм был дублирован на русский, а субтитры были эстонские.

Красивый фильм. Красивая жизнь. Красивые актеры. Ильма смотрела на экран широко открытыми глазами. Чтобы напомнить ей о своем присутствии, я брал ее руку в свою, но она никак не реагировала на прикосновение. Наверняка, она, красивая молодая девушка, мечтала о красивой и яркой жизни впереди. Достаточно быть красивой, чтобы быть счастливой. Так думается в молодости. Чтобы напомнить о себе, я клал ей руку на плечо, но привлечь к себе ее внимание удавалось только, когда в сюжете фильма был спад. Когда герои фильма катили в карете по прекрасному Венскому лесу и целовались, или кружились в вальсе, или объяснялись в любви перед расставанием — Ильма, оставив свою руку в моей, подавалась вперед и оторвать ее от экрана было невозможно.

Когда фильм закончился, мы вышли в фойе. Оно было убогим, как во всех тогдашних наших кинотеатрах — какие-то выцветшие плакаты с призывами «выполнить и перевыполнить», черно-белые фотографии популярных советских актеров, потрескавшиеся и пожелтевшие.

— Ты был за границей? — спросила Ильма, когда мы вышли в темноту улицы.

— Я не был за границей, — ответил я и пожалел, что не мог ответить иначе. Впрочем, чего было стесняться: кто в те времена, да еще в моем возрасте мог бывать за границей.

Мой ответ не удивил ее.

— Мой дядя живет в Америка, — сказала Ильма. — Я тоже хочу жить в Флорида.

Мое настроение упало. Я сразу почувствовал большую разницу между мной и этой эстонской девушкой. Я и раньше ее чувствовал. Мы были не только из разных народов, но и из разных миров. Теперь эта разница стала огромных размеров. Ильма может быть и жить *там*. Я же быть и жить *там* не смогу никогда. Это невозможно даже представить себе.

Видимо, почувствовав перемену в моем настроении, Ильма сказала:

— Ты видел Таллин?

— Почти не видел. Из поезда в автобус, из автобуса в поезд. Видел только Вышегород. Снизу вверх.

— Красивый? — спросила она.

— Да, понравился, — сказал я, понимая, какого ответа ждет Ильма.

— Мы пойдем в Таллин. Я буду показывать тебе город.

Мы шли по темным улицам маленького эстонского городка, и я больше всего на свете боялся потерять девушку, которая шла рядом со мной. То, что она может оказаться за тридевять земель, и что это вполне реально, я понял сразу, после того, как узнал, что у нее есть дядя в Америке, и что она хочет жить во Флориде.

Стало прохладно. Я снял свой плащ и накинул его на плечи Ильме. Мы шли от фонаря к фонарю, и когда оказывались в полосе света, я смотрел на Ильму. Ее лицо было одновременно мечтательным и грустным. Может быть, мое настроение передалось и ей. Но скоро это прошло. Она снова оживилась.

— Таллин тебе понравится. Он отсень красивый. Большой.

Мы договорились, что через день я уеду в Таллин. На другой день туда приедет она. Мы встретимся у Балтийского вокзала, перед входом в вокзал, на лестнице. На привокзальную площадь приходит автобус из Хаапсалу. Предстоящее свидание в Таллине оживило и меня. Настроение мое поправилось.

Сзади нас раздали шаги. Какой-то мужчина догнал нас и что-то сказал по-эстонски.

— Что она сказал? — спросил я.

— Он сказал, что надо поднять пояс.

Пояс моего плаща, накинутого на плечи Ильмы, волочился по земле.

— Он плохой тселовек,— сказала Ильма.

Этот «плохой» человек пошел себе дальше, не оборачиваясь. Почему он плохой, я спрашивать не стал.

Я поправил пояс плаща.

Мы шли и шли по темной улице от фонаря к фонарю, слабо освещавшим тротуар. Наконец мы остановились.

— Это мой дом,— сказала Ильма.

Теперь я узнал, где она живет. Это был дом без фундамента с большими окнами и двумя ступеньками перед дверью.

На другой день я ждал Ильму в маленьком кафе на пляже, где мы условились встретиться, но она не пришла. Целый день я не знал, куда себя деть. Вечером пошел по знакомой улице и отыскал дом, который видел накануне вечером, после кино.

Стоять перед домом долго было неудобно. Ильма не появлялась. Я поднялся на ступеньки и позвонил.

Открылась дверь. На пороге стоял невысокого роста плотный мужчина лет сорока с лишним. Лицо крепкое, очень мужское, но чем-то неуловимым похожее на лицо Ильмы. Он смотрел на меня и молчал.

Я не знал, как говорить.

— Ильма,— сказал я, и с расстановкой, отдельно и отчетливо произнося слова,— я хочу видеть Ильму.

Он постоял, молча, повернулся и ушел, закрыв за собой дверь.

Что было делать дальше, я не знал.

Через некоторое время я позвонил снова.

Долго не открывали. Потом дверь открылась. На пороге стояла Ильма.

— Я не могу гулять,— сказала она тихо.— Я быть дома.

Она слабо улыбнулась и закрыла дверь.

Сейчас я вспоминаю эту сцену на пороге Ильминого дома, и мне кажется, что лицо девушки было тогда неуловимо чужим. Не таким, какое оно было в те пять-шесть дней, которые мы провели вместе, видясь каждый день.

Наверное, у себя дома, то есть в России, я, как любой молодой человек, доказывая свою любовь, звонил бы и звонил в дверь, стучал кулаками и добился, чтобы ко мне вышла любимая девушка и стал бы уговаривать, и уговорил бы, о свидании. Но здесь — все было не так. Дом был глух и неприветлив, как крепость. Девушка, которая нравилась мне, и которой нравился я, я уже в этом не сомневался, вдруг сделалась чужой.

Я спустился с крыльца и ушел.

Самым нелепым в этой ситуации было то, что я не знал, как мне быть дальше. Ехать на другой день в Таллин и ждать там Ильму или нет.

Поразмыслив, я, кажется, верно, решил, что делать мне в Хаапсалу нечего. Ильму я здесь не увижу.

Вечером я посидел с сестрой и ее семьей за прощальным столом. Сестра и ее муж, видя мое упавшее настроение, пытались рассеять его разными разговорами о здешнем житье-бытье, о неприветливости эстонцев. Но эти разговоры то и дело переходили к тому, что они соскучились по родне, живущей в России, что служить здесь осталось еще год и что, скорее всего, их часть переведут либо снова в ГДР, либо за Урал.

Мы с Колей, так звали мужа моей сестры, время от времени, оттопырив мизинец, опрокидывали лафитники с водкой, нюхали черный хлеб и закусывали солеными огурчиками. Мне стало уютно и хорошо в кругу своих близких. Под конец сидения за столом мы так расчувствовались, что спели «Подмосковные вечера», потом еще ка-

кие-то песни, какие, уже не помню, и поздно вечером, отяжелевший и оглушенный, я ушел в свою комнату и уснул крепким, без сновидений, сном.

Утром, простившись с сестрой и моим племянником, ее сыном (Коля был уже на работе) я сел в автобус на площади Выйт и уехал из Хаапсалу.

Ильма в Таллин не приехала.

Я ждал ее на привокзальной площади. На той самой, над которой неприступной крепостью нависает Вышгород. Пришел единственный автобус из Хаапсалу. Пассажиры выходили один за другим, автобус опустел. Ильмы не было.

Я был готов — и не готов — к этому.

Думать, что все кончилось, не хотелось. Вдруг она придет на машине. Вдруг она придет на поезде. Между Хаапсалу и Таллином раз в день, как и автобус, ходил поезд. Я болтался на привокзальной площади полдня. Пришел поезд из Хаапсалу. Чуда не совершилось.

И все равно из Таллина уезжать мне не хотелось. Отъезд означал бы конец всего, что было связано для меня с Ильмой.

Я позвонил в Москву маме, сказал, что застрял в Таллине, что в туристский поход не пойду, что деньги у меня на исходе. Мама дала мне телефон и адрес своей подруги в Таллине. Я подпрыгнул от радости.

«Мало ли,— думал я, хватаясь, как утопающий за соломинку, за последнюю надежду,— что-то помешало Ильме приехать сегодня. Может быть, она придет завтра».

Мамина подруга, русская, Людмила Ивановна, была замужем за эстонцем, журналистом, корреспондентом ЭТА — эстонского телеграфного агентства. Они жили как раз на привокзальной площади, напротив Балтийского вокзала. Это была удача.

Толстая, по-русски приветливая, Людмила Ивановна приняла меня с распростертыми объятиями. Усадила за стол кормить, и пока я ел, расспрашивала меня о маме, Москве, не дожидаясь моих ответов сама рассказывала, как давным-давно познакомилась с моей мамой, как они дружили, пока не вышла замуж за эстонца, своего Лео Койтметса, который увез ее сюда, в Эстонию, из которой она не выезжает уже тридцать лет. Я жевал, слушал ее и чувствовал себя, как дома.

Вечером пришел Лео Койтметс, плотный, небольшого роста пожилой человек, с зачесанными назад прямыми серыми волосами и чем-то неуловимо похожий на отца Ильмы, так неприветливо обошедшегося со мной на пороге своего дома.

Людмила Ивановна представила меня.

Лео Антонович оказался словоохотливым человеком. Видимо, сказывалась его журналистская профессия. Вечером, за чаем, узнав, что я студент, он пустился в воспоминания молодых своих лет, рассказывал, как учился на журфаке МГУ, как влюбился в русскую девушку Люду, что любит русскую еду и русскую водку. Вспоминая смешные истории из своей студенческой жизни и журналистской работы, хохотал так, что стекла звенели в их маленькой квартире, выходившей окнами на привокзальную площадь. Русский язык его был безукоризненным.

Мое настроение улучшалось с каждой минутой пребывания в этой русско-эстонской семье. Лео Антонович за полчаса разрушил мое мнение об эстонцах, сложившееся о них в Хаапсалу.

— Завтра я свободен, молодой человек,— сказал Лео Антонович, вставая из стола и энергично хлопая меня по плечу,— покажу тебе наш маленький Ревель. Теперь он называется Таллин.

Он разбудил меня рано утром.

— Вставать надо рано, если хочешь успеть в жизни что-то сделать,— сказал он и захохотал.

Людмила Ивановна напоила нас черным кофе с бутербродами, и мы отправились смотреть «маленький Ревель».

Теперь, спустя много лет, я знаю Таллин лучше, чем успел узнать тогда, с Лео Антоновичем. Многочисленные советские фильмы, в которых должна была быть «европейская граница», нещадно «эксплуатировали» улицы этого города, как «натуру». Чаще всего показывали экзотические Пик яльг и Люхике яльг, узенькие улочки, круто взмывающие вверх, на Вышегород. По-эстонски название этих улиц означает — Длинная нога и Короткая нога. Какое название какую «ногу» означает, я уже не помню. Часто показывали черепичные красные крыши города, которые хорошо видны с Вышгорода, если смотреть на восток, Ратушную площадь и Ратушу.

Что там маленький Хаапсалу, к которому постоянно возвращались мои мысли! Таллин во всей своей красе давал особенно сильно почувствовать, насколько «не наш» город — столица маленькой Эстонии, насколько к совершенно другой цивилизации и культуре он принадлежит.

Лео Антонович хорошо знал историю своей страны и города. Лучшего гида нельзя было придумать. Корреспондентское удостоверение открывало ему все двери. Кроме того, в городе его, кажется, знали все. Мы пришли с ним к старинной церкви Нигулисте, что стоит в нижней части города.

— Сейчас мы поднимемся с тобой наверх, — сказал он и постучал в железную дверь, больше похожую на врата замка.

Дверь тяжело и медленно, с металлическим скрежетом приоткрылась. В приоткрытом пространстве показалась маленькая, тщедушная старушка, сморщенная, как сушеный гриб. Между нею и Лео Антоновичем состоялся короткий разговор по-эстонски, который закончился словом «палун».

Если бы не мы, старушка вряд ли смогла бы сама открыть дверь шире, чтобы впустить нас с Лео Антоновичем.

В огромном пустом пространстве церкви шаги отдавались гулким утробным эхом. Смотреть было нечего, никакой росписи на стенках или икон не было.

— Здесь неинтересно, пойдём наверх, — сказал Лео Антонович и захохотал.

Многократное эхо усилило его хохот. Хохот был веселый. Он особенно светло звучал в этом мрачноватом интерьере, разрушая настороженность и торжественность, невольно возникающих при посещении таких мест.

— Понимаешь, здесь действует закон масштаба, — говорил Лео Антонович, когда мы поднимались по тесной винтовой лестнице куда-то вверх. Он шел впереди, и моя голова почти касалась его ног, настолько крута была эта винтовая лестница. — В маленькой квартире легче навести порядок. А в большой всегда окажется угол, где завалялся всякий хлам, до которого руки не дошли.

Продолжался затеянный мною разговор о высокой культуре эстонского народа, о чистоте улиц эстонских городов и вежливости и опрятности людей на этих улицах, который оборвался перед чугунными дверями церкви Нигулисте.

— Мы, эстонцы, принадлежим западной культуре. У нас высока бытовая культура. Но мы маленький народ. В маленькой семье меньше уродов. Ты понимаешь, о чем я говорю? — и Лео Антонович опять захохотал. Странно, но его хохот, веселый и добродушный, никогда не казался неуместным, хотя расхохотаться он мог в разговоре при любой фразе, при любом слове.

Лестница кончилась, и мы через небольшой люк вышли на площадку, огороженную чугунной решеткой, у самого основания шпиля. Внизу был город.

И море, с северной стороны. С высоты оно казалось стоящим почти вертикально, стеной.

— Мы маленький народ. Мы должны себя сохранить, не раствориться в другом, большом народе. Это я, грешный, не нашел себе эстонскую жену.

И Лео Антонович снова расхохотался.

Мы спустились вниз.

Я вслед за Лео Антоновичем сказал старушке «тянан тейд» и помог ей закрыть тяжелую чугунную дверь церкви.

Я посмотрел на часы. Мне надо было быть на привокзальной площади.

Лео Антонович знал, или догадывался, о причине моей остановке в Таллине.

— В молодости хорошо жить или учиться в чужом городе,— сказал он и добавил,— но при этом хорошо иметь небольшой кошелечек.

Он протянул мне десять рублей. Тогда это были большие деньги. Жест был дружественным и необходимым. Я взял.

На привокзальной площади было многолюдно. Был разгар летнего сезона. Начало июля. Советские люди начали осваивать эстонский курортный город Пярну. Я тоже побываю там, и неоднократно. Но это будет потом. Тогда я даже не подозревал о его существовании. Привокзальная площадь была полна русских слов.

Пришел автобус из Хаапсалу. Потом поезд.

Ильма не приехала.

Я метался по привокзальной площади, всматривался во всех девушек, маломальски похожих на мою Ильму, белую девушку, в белом платье и с распущенными по плечам белыми волосами. Мне так хотелось, чтобы одна из них оказалась ею. Но ни одна из них не оказалась ею. Ильма не приехала.

Я побродил по городу. Вечер был бесконечный. Долго не темнело. Когда стемнело, зажглись неоновые огни вывесок на магазинах, отелях, кафе, ресторанах. Вывески были из чужих, не русских букв. Кругом была непонятная речь. Люди, занятые собою. Чужой город.

Утром я пошел в кассу. Билетов на Москву было сколько угодно. В тот же день я уехал.

— Не горюй, студиозус. Жизнь только начинается,— сказал Лео Антонович, хлопнул меня по плечу и расхохотался. — Передавай привет Москве от маленькой Эстонии.

Людмила Ивановна просила передавать привет своей московской подруге, моей маме, расцеловала меня, сказала, что очень я похож на нее, просила писать, не забывать.

Я с теплым чувством простился с ними.

Поезд был не скорый, пассажирский. Останавливался на каждом полустанке.

Словно нехотя, медленно он выезжал из Эстонии.

Может быть, это или, не знаю, что еще, повлияло на мое неожиданное для самого решение, но в Тарту я взял свой саквояж и сошел с поезда. Это, конечно, была блажь. Но я так был травмирован постигшим меня фиаско, что плохо соображал. Зачем я тогда сошел с поезда, я до сих пор не могу толком объяснить. Я спросил у прохожего, где «вырастемая». Он охотно показал. Гостиница оказалась рядом с вокзалом.

Я вошел и спросил одноместный номер.

Услышал в ответ привычное уже — «палун», заплатил полтора рубля за сутки постоя и получил ключ с фанерной биркой. Я никогда раньше не поселялся в гостинице. Из художественной литературы знал, что в Европе, да и у нас раньше, в номер можно было спросить еду. Полагая, что я в Европе, я попросил чай и бутерброды в номер.

Молодая улыбчивая женщина за стойкой весело мне отказала:

— Нельзя. Мы этого не делаем.

Я почувствовал себя идиотом.

День, проведенный в Тарту, постепенно привел меня в чувство. Уютный город на холмах, русские по архитектуре дома, университетский парк с бюстами Пирогова, Карла Бэра с надписями по-русски на постаментах, тихая медленная, как наша Пахра,

речка с белыми, бесшумно скользящими по ней яхтами под парусами. Не помню сейчас ее название. Все это подействовало на меня умиротворяюще. Мелькнула шальная мысль — «вот бы перевестись сюда учиться». Мелькнула и угасла. Я смирился со своим поражением.

Утром, позавтракав двумя пирожками с повидлом за десять копеек, я сел в поезд и до Москвы из него уже не выходил.

* * *

Ильма медленно уходила из моей памяти.

Я окончил институт. Женился. У меня родилась дочь.

Через два года я получил письмо от *нее*. Не помню его дословно. Она писала, что была в Москве, на соревновании по «гребению», что учится в институте в Таллине на «химика», что «твой город мне нравился».

Письмо не взволновало меня. Оно даже не всколыхнуло воспоминаний. Это была не обида. Это было осознание невозвратности прошлого.

Когда дочь подросла, и моя семья окрепла в финансовом отношении, мы стали ездить в отпуск в Эстонию, в Пярну. В те годы он был очень популярен среди столичной интеллигенции. Чистота улиц, обилие кафе и ресторанов, хорошая еда. «Ах, какая сметана!», «Ах, какие сливки!» — можно было слышать в очереди в кафе на завтрак от милых, аккуратно одетых старушек и старичков. Молодые семьи, как наша, приезжали с малыми детьми ради мелкого моря, ради этих «ах!» сметаны и сливок, ради чистых, ухоженных комнат, сдаваемых приезжим. Хозяева этих комнат были приветливы, ненавязчивы и трезвы. Отдых был комфортным и... европейским. По вечерам в парке у курзала играл духовой оркестр, своими русскими музыкальными номерами преображая эстонский край в теплое и родное место отдохновения. На кортах стучали теннисные мячи, и зрелого возраста мужчины и женщины, одетые в белые шорты и белые «тенниски», красиво двигались по площадке, усиливая впечатление культурного города в культурной стране.

Однажды, гуляя, мы с дочерью, пришли к кортам и через высокий сетчатый забор, огораживающий их, стали смотреть на игру. Странно, приезжая в Пярну на отдых, я никогда не вспоминал Ильму. Тогда же, стоя за сетчатым забором кортов, я стал всматриваться в одну из игравших женщин. Она показалась мне похожей на *нее*. Ее непрерывные движения в игре мешали рассмотреть ее, как следует. Дочери стало скучно, она потянула меня за руку, я не стал сопротивляться.

Я знал, что от Пярну до Хаапсалу часа два езды на автобусе. Но желания поехать туда у меня не возникало. Возможно, это все-таки была обида.

Прошло еще десять лет. Вдруг я получаю письмо. Из заграницы. Незнакомый почерк. Имя и фамилия мои. В самом начале адреса. Потом номер дома, улица, город, страна.

Раскрываю конверт. Письма в нем нет. В нем только фотография. Цветная. С *нее* на меня смотрела Ильма. Большие синие глаза. Белые волосы до плеч. Она старше, чем тогда, в Хаапсалу. Но еще прекраснее. Молодая женщина в расцвете женской красоты.

На оборотной стороне фотографии надпись. По эстонски. Узнаю только слова «Тере». «Ильма». «Флорида».

Так постепенно уходила из моей жизни эстонская девушка Ильма, Валгедам, Белая дама. Как тот призрак, что является летними ночами в стрельчатом окне замке в городке Хаапсалу — в первую лунную ночь целиком вся белая фигура, на вторую ночь — фигура уменьшается на половину, а на третью — превращается в узкую белую полоску, похожую на свечу.

Что написано на фотографии, я не знаю до сих пор. Обратного адреса на конверте нет.

Прошло много лет. Целая жизнь. Пришла житейская мудрость. Или смирение перед судьбой. Когда я вспоминаю Хаапсалу, семью моей сестры, попавшую нежданно в этот эстонский городок, прекрасную Ильму, ее приземистого неприветливого отца, я начинаю думать, что все, что произошло со мной и Ильмой тогда, произошло правильно. Слишком трудносовместимыми были наши миры и мироощущения. Удалось ли бы нам их совместить, обернись все по-другому? Не знаю.

Сейчас я охотно поехал бы в Эстонию, Хаапсалу. Посмотреть на Белую Даму. На дом «калюри тюттар». Наверняка он сохранился: на Западе чтут недвижимость. Может быть, увидеть Ильму. Ведь во Флориду она могла поехать в гости к дяде, а не насовсем. Уверен, что она прекрасна и в старости.

Но теперь «наши миры и мироощущения» разделены настоящей границей, пересечь которую трудно. Теперь там все по-другому. И уж конечно, нет места любви между русским парнем и эстонской девушкой.

Но на излете жизни маленький эстонский городок Хаапсалу становится все милее.



Людмила Алтунина
(г. Тула)



ИЗ ЦИКЛА «НЕ ОТ МИРА СЕГО»

Примеч. сост. — Людмила Алтунина родилась и выросла в Сибири, в Горном Алтае, в семье землеустроителя-геолога, охотника и рыбака, закончила факультет журналистики Казанского государственного университета, журналист, член Союза журналистов РФ. Работала в областных и городских газетах, на радио. Более двадцати лет — в вузовской газете Тульского государственного университета, редактором которой была 17 лет, и сейчас продолжает трудиться там же. Награждена нагрудным знаком «За заслуги перед университетом». Публикуется в местных и центральных СМИ. Финалист IV Всероссийского кинофестиваля короткометражных фильмов «Семья России» (проза) — 2007 г.; победитель первого этапа Всероссийского конкурса «Растим патриотов России». Патриотическая, военная тематика, как и тема малой Родины, занимают особое место в ее творчестве. Автор нескольких книг, активный участник творческих проектов продюсерского арт-центра «Странник»; соавтор (проза — рассказы, новеллы, очерки и повести) литературно-творческого проекта «Новые имена России. Тульский регион», семь книг-антологий которого вышли в 2005—2008 годах, а также избранного в трех книгах «Гриф и Странник...», вышедших и готовящихся к выходу в этом же издательстве.

КОЛЯН — ЭХО

Вечерело. Пурпурный диск солнца, нещадно жарившего землю днем, медленно скользил, опускаясь все ниже к вершинам отделенных гор, разбрасывая по иссиня-бирюзовому краешку неба разноликий веер лучей, похожий на павлиний хвост. С гор, с лесистых островов и от реки потянуло свежестью. Вдоль деревенских улиц, поднимая пыль и распространяя запах парного молока с разноголосым мычанием, оповещающим ожидающих хозяек о своем приходе с пастбища, прошествовало красно-пегое стадо коров, едва не волочащих налитое за день молоком вымя по земле. В стадо затесались козы, овцы, телята. Оно, облаянное изо всех дворов собаками, разбрелось по своим пригонам, наполняющимся разного тембра звуками-ударами первых струек молока о подойники. Затихал лай собак. Деревня, погружаясь в предсмеречную грустную прохладцу с ее неповторимыми звуками и запахами, угоманивалась.

— Э-э-э-эх-ге-го, — донеслось с берега реки. Деревенские жители давно уже привыкли к этому звуку и не обращали на него внимания. Лишь кто-нибудь скажет вскользь, улыбнувшись не в осуду: «Коля с эхом перекликается». За то к парню с детства и кличка приросла «Колян — Эхо». Чудной он немного, Колька-то. Рослый, плечистый, упитанный, но наивный и доверчивый как ребенок, хотя и с хитринкой. Круглолицый и курносый со светло-русскими волосами и коричневыми с серо-

голубыми прожилками глазами, он, когда выдавал эту самую, свою «хитринку», прищуривал один глаз, и выражение лица делалось лукавым и нетерпеливым: «Эта, слыш, чо скажу, ноне невод я через всю реку перекину, до того самого берегу — вся рыба будет моя. Вот увидишь — во-о-о-т такую рыбину поймаю, — и он широко разводил руки в разные стороны, — а эта-то, што у берега-то, — мелюзга, чо с ей пачкаться-то»...

Рыбалка — с измальства любимое Колькино занятие, как и для многих здешних деревенских пацанов. На утренней и вечерней зорьке — он всегда уже на берегу с удочками, на излюбленных своих местах — у него их было несколько: одно прямо напротив спуска с горочки от деревни; другое чуть поодаль, у коряг — мощных корневищ поваленных когда-то давным-давно тополей; третье — подальше, в заводи, под склоненными к речке ветвями прибрежных ив. Еще несколько местечек было у Кольки по мелким островкам, образованным многочисленными рукавами и рукавчиками Катуня, ее протоками. Любил Колька не только рыбу удить, но еще, как сам он говорил, «реку слушать и с эхом перекликаться». По первой причине он и выбирал места уединенные для рыбалки и «слушания реки», по второй причине, рядом с ним усесться рыбачить мог только тот, кто не знал Кольку. Местные же недалеко от Коли не пристраивались с удочками, знали — всю рыбу распугает: чуть смеркаться начнет, и река затихнет, начнет он перекличку с эхом. Встанет во весь рост, а то забредет в воду в глубоких резиновых галошах, одетых на босу ногу, сложит ладони у рта рупором, и заорет, обратившись лицом в сторону острова и гор по ту сторону реки: «Э-э-э-эх!» Или короткими и резкими как удары бича вскриками: «А-а-а! А-а-а!». Во дворах, что ближе к берегу, всполошатся и разноголосо забрешут собаки, встревожено кудахнут на насестах в стайках куры, взгоготнут гуси, кинутся в глубину реки из-под ног Коли косяки мальков, егозя серыми спинками на мели, меж камешков, по которым играет, нежно перешептываясь, вода.

А из далекого далека донесется чистое, прозрачное, четкое и многозвучное, как бы смеющееся эхо, повторяя Колькины возгласы трижды: в ближних островах и протоках, на самом дальнем, за этими островами, русле Катуня и в отдаленных, синееющих в сумерках вершинах гор и долин.

— Э-э-э-э-э-э-эх-эх-эх-хе, — вторит смеющееся, ясное, таинственное эхо. А Колька идет вдоль берега реки, то спускаясь в нее, то, наоборот, поднимаясь на пригорочки и, зная себе, самозабвенно перекликается с эхом. И вторит оно ему всякий раз по-разному, но озорно, со смешком, в многоголосицу.

— Слыште, как откликается? — спросит Коля, если кто-то из деревенских ребят окажется рядом и зачарованно будет наблюдать за Колиной игрой с эхом. — Я это эхо сам видал, — уверяет Коля.

— Да ну! Врешь, поди. Какое оно? — испуганно и вопросительно уставятся пацаны на Колю, — где видал-то? — сгорая от любопытства и непонятного страха перед чудом таким, почти шепотом спросит кто-нибудь из ребят.

— Ей-бо, видал, вон там вон, над лесом, — и Коля покажет рукой в сторону островов за ближней протокой. — На пар или туман похожа, подымается так над вершинками-то, подымается, с головой, руками и поплыло, поплыло туда вон, к горе, к Петушку-то, а само смеется и мне откликается. Меня, знашь, аж оторопь взяла, но бежать я не кинулся. Потом еще его видал. Оно завсегда со мной доброе, баловливое. Мож, счас ишо покажется. Сами и увидите.

Пацаны затихали и во все глаза, до слез напрягая зрение, смотрели за протоку, на острова, в ту сторону, куда указывал Коля, сияясь рассмотреть таинственное эхо, если вдруг оно покажется.

— Я и домового, и лесного лешего видал, — искренне наподдаст жару и без того замершим в ожидании и оторопи пацанам Коля. — Тут вот, на бережку, у тех вон кус-

кустов-то, у реки. Костер-то зажег, сижу. Вдруг сзади, за спиной кто-то по тальнику-то шась туды-сюды, да быстро так мелькат, хорошенько-то не рассмотрел. Ага. Но, зуб даю, лешак то был. Он огонек-то любит, вот и метался вокругом.

И все замрут от услышанного и дышать стараются бесшумно, боясь потревожить наступающую темноту и кого-то в ней неведомого.

— Шибко страшно?

— Чо страшновато-то?

— Ну када он, этот-то, в кустах бегал? — с заговорщицким полупшепотом спросит кто-нибудь из ребят.

— Пряма. Нисколечка. Они хошь огонь и любят, но сами подойти к нему боят-ся — это я, сто пудов, знаю. Да я вообще не боюсь ни эхи, ни лешаков, ни домовых и суседки...

— Пошто так-то?

— А чо их пужаться-то? Они же завсегда с нами. Их обижать не надо, и оне не обидят — точняк,— спокойно ответил Коля, как будто речь шла о вещах, вполне обычных, не стоящих особого внимания и скомандовал:

— Да тише вы! Слыш, река зашепталась, слыш как — тихо, с лаской по камешкам — это к ведру, пекчи завтра будет боле, чем седня, вот увидити.

— Как это ты реку-то слышишь? Чудно.

— Она — тоже живая, как мы. Разговаривает. Када ворчит — к ненастью и ветру. Када плачет и шибко шумит, злится, значит утоп кто-то...

— Да ну! Откудава ты это знашь?

— Ды так, само. Слушаю, да понимаю, чо к чему — вот и вся недолга: ничево тут такова, е мое...

ЯКОРЬ

— Батя! Знашь, какова талменя седня дядя Проня поймал!? — возбуженно крикнул Коля прямо от калитки, которая захлопнулась за ним с резким, громким стуком, будто выстрелила, но он на это не обратил никакого внимания, как и на слова выбежавшей на его голос из летней кухни матери: «Ты че так воротчиками-то хлопаешь, сломаются ведь». Резко бросил у крылечка удочки, рывком поставил рядом помятый, закопченный на костре алюминиевый трехлитровый бидончик с плещущими в нем пескарями и быстро вбежал по ступенькам на крылечко, где, потягивая папироску из самосада, отец плел сеть, ловко и шустро мелькая тонким, длинным, отполировавшимся до блеска деревянным челноком. Он, не выпуская папиросы изо рта, прищурив один глаз от ее едкого дыма, вопросительно посмотрел на сына, кивнув подбородком снизу вверх: че, мол, случилось-то?

Коля с размаху плюхнулся у его ног на теплые, прогретые за день солнышком, крашенные под охру доски крылечка и, обернувшись через плечо к отцу, очумело покрутил головой.

— Ну, е мое! Слыш, батя, грю, я такой рыбины сроду не видал! Прямо пол-лодки — с метр или боле — блесит, аж горит вся! Втору уж таку выудил.

— Втору? — удивленно переспросила подошедшая мать с веселкой в руке, которой она мешала варево свиньям у летней печки под дощатым навесом, в ограде. Присаживаясь на ступеньку, без всякой зависти добавила со вздохом усталости: «Дает же Бог людям».

— Дык и я лавливал не таких ишо, помниш же, мать: и талменей, и нельму, Колька ишо маленький был, наверно, не помнит...

— Я-то не помню!? Помню! У ей ишо хвост со стола свешивался и икру солили, правда, мама?

— Правда, правда, сынок! Ишь, отец, какой памятливым — помнит. Так он уж большенький был тада,— обрадованно закивала мать, заправляя выбившиеся, тронутые сединой, волосы под беленький, ситцевый платок в мелкий синий цветочек. Ее ласковые, серые глаза так и засветились материнской любовью.

— А знаете, почему дядя Проня крупняк ловит? Потому што он купил этот... как ево, ну в кине на параходах-то показывают... А! Вспомнил — якорь! Из железа, черный такой, с тремя загнутыми вверх зубцами. Он в лодке-то на середину, на быстринку, заплывет, за дальний остров, кинет якорь-то и полавливает. Его никуда течением не сносит — во как!

— На спиннинг? — без видимого интереса спросил отец.

— Ага, на спиннинг, на блесну. У нево в лодке-то ишо рыбы полно было: не такой уж здоровой, как та, но и не то, што эта — мелочь,— Коля пренебрежительно и обиженно кивнул на бидончик с пескарями.

— Ничо, сынок, пескарь — тоже рыбка хорошая, мякотькая, некостистая. Уж ты-то нас, Колюша, слава Богу, рыбкой кормишь.

— Да разе это рыба! Так — тьфу. Да разе, е мое, у берега-то большу поймашь? Вот мне бы такой якорь-то, я бы тож поймал таку бы, а мож, и поболе,— Коля огорченно призадумался, опершись руками в колени и опустив голову. Потом вдруг оживленно встрепенулся и, переводя загоревшийся взгляд с отца на мать, захлебываясь от нетерпения, предложил: «Батя, ма! А давайте и мы купим якорь-то! Вот увидите, каку я рыбину, талмешка, а мож, даже нельму поймаю! Купим, а?»,— он остановил вопросительный взгляд на отце.

Отец, не прерывая плетения сети, не спешно, со знанием дела, беззлобно пердразнил: «Купим, купим! Купить-то все можно, но все денег стоит. Я, когда у Татьяны был,— Татьяна — дочь жила с семьей, мужем и двумя детьми, в райцентре,— заходил в скобяной, видел; якорь-то этот — двадцать пять рубликов стоит, язви его...

— Двадцать пять! — пораженно повторила мать,— это ж куль муки высшего сорта — на зиму хватит.

— То-то и оно,— резонно поддержал отец.

— Дык я сам заработаю, зарплату получу — и купим,— не унимался Коля.

— Дак железяка-то та стоит ползарплаты твоей, подумай, Коля. Горбатиться будешь на каку-то железяку,— урезонивала мать.

— Да, дороговато будет,— подытожил отец.

— Ды дело ж вам говорю — купить надо,— чуть не плача стоял на своем Коля.

Помолчали.

— Оно, может, и надо, кто ее знат, ек-макарек. Оно, конешно, для дела, не для баловства,— вслух неспешно размышлял отец.— Если рыбу отвезти на продажу, траты, пожалуй, себя вскорости окупят, а, мать, как думашь?

— Даже и не знаю, отец, давайте решать...

Порешили купить. Взяли в совхозе лошадь с телегой, поехали всей семьей в райцентр за двадцать километров, еще и с тем, чтобы с дочкой, зятем и внуками повидаваться. Коля сиял, суетился и много говорил. У телеги крутились мальчишки — вся деревня уже знала, что Кучеренковы едут за якорем, и Коля собирается крупную рыбу ловить. И первую же,— пустили слух, толи сами, толи с его слов,— подарит Розе Сергеевне, молоденькой учительнице-литераторше, прибывшей в село в прошлом году, по распределению, которую он безответно любит и называет своей невестой.

...Встречало Кучеренковых из райцентра полсела: не только ребята, но подошли и мужики, и парни — ровесники Колины, помогли разгрузиться. Вынули из соломы мешок с якорем, бережно его достали, будто он не железный и может сломаться, и положили в ограде на презент. И вот он — Колина мечта, черный, блестящий, как воронье крыло с заостренными на концах загнутыми вверх тремя зубцами, на вер-

шинках которых играют солнечные лучики, лежит, красив и неправдоподобен, в столь не вяжущимся с ним сухопутным окружением: телегой с поднятыми оглоблями, поленицей колотых дров, граблями, вилами и таянками, дружно, ручка к ручке, прижавшимися в углу дома, в тенечке. Даже толстые, пестрые куры с хохолками на головах с любопытством и испугом посматривают на диковинку. С достоинством, но нерешительно, высоко поднимая ноги, окольцованные пестрым пушком, и, важно их переставляя, настороженно и резко поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, отчего его гребешок вздрагивал, озираясь и каждую секунду находясь на стороже, подошел и остановился не вдалеке от якоря щеголь-петух. Его разноцветное, словно атласное оперенье играло на ярком, жарком солнце всеми цветами радуги. Не теряя бдительности, он с явной тревогой и любопытством пробормотал скороговоркой на своем, петушином, языке: «А это еще что такое? Зачем оно здесь?» И также важно отошел в дальний, тенистый от веток черемухи угол ограды, уводя за собой призывным клекотом кур. Подошли и осторожно обнюхали якорь трехшерстная кошка Фимка и рыжая хозяйская собака Дора. И, не найдя в нем ничего для себя опасного, спокойно, лениво позевывая, удалились.

Зато любопытствующего народу прибавилось. Мальчишки в основном. Они трогали якорь, нюхали его и даже лизали, говорили, что пахнет железом и краской, а восьмилетний Миша даже сказал: «Морем», хотя море видел только в кино. Взрослые мужики степенно рассуждали о рыбалке с якорем, о том, где его лучше забросить и сходились во мнении, что с якорем куда удобнее рыбачить: на любой стремнинке лодку можно поставить. Правда, говорили, тяжеловато, мол, одному-то его забрасывать и поднимать, хорошо бы какую-нибудь лебедку в лодку придумать. Ну, ничего, поначалу и так сойдет, а там, авось, всей деревней что-нибудь сообразят. Больше всех, конечно, суетился вокруг якоря Коля. Он его то пытался приподнять: «Чижол, е мое», то смахивал только ему одному видимые пылинки: «В дороге запылится», то прикладывая к нему ладонь: «Холодный, как лед, е мое» и улыбался, улыбался во весь рот, а то и громко захохотал на чью-то шутку. Утомонились поздно вечером, когда уж солнце упало за горы и от реки, от островов потянуло прохладной сыростью и донесся голос ночной птицы. Коля даже забыл сходить на вечернюю переключку с эхом. Никогда он еще не ложился спать с такой детской радостью в сердце, с нетерпеливым желанием поскорей и пораньше проснуться. На рассвете он наметил рыбную ловлю на лодке с якорем и спиннингом, к которому с вечера приделал медную блесну, вырезанную из старого жарового самовара, взяв ее у отца и начистив до сияющего золотом блеска. Отец отговаривал его плыть одного. Говорил, мол, подожди денек-два, освобожусь немного с работой в совхозе и вместе махнем. Коля не мог так долго ждать: «Ничо, батя, я один управлюсь, а потом, как сможешь, — вместе».

...На берегу всем миром затащили якорь в лодку, для верности погромыхали длинной, толстой цепью, прикрепленной к нему, проверяя ее на прочность и надежность. Когда сталкивали лодку на воду, пацаны наперебой просились: «Колян, возьми меня с собой», «А меня возьми?»

— Не, — в другой раз, сейчас сам хочу, — возбужденно-радостно отвечал Коля, суется в лодку. Оттолкнулся веслом на отмели и направил корму лодки на середину широкой в том месте реки, где, огибая длинный остров с острым мысом, сливаются основное русло Катуня и один из ее рукавов, на быстринку, туда, где водились хариусы, таймени и даже нельма.

Оставшиеся на берегу мальчишки с интересом и сожалением, что их не взяли, наблюдали за быстро удалявшейся лодкой, подставив ладони ко лбу, чтобы яркое солнце не било в глаза. Они, сгорая от любопытства и напряжения, изготобились наблюдать, как Колян подсечет крупную рыбину, как будет ее подводить к лодке, а потом и затаскивать в нее. Каждый представлял, как на солнце сверкнет серебром

рыба-гомадина и, тяжело плюхнувшись на дно лодки, начнет биться и подпрыгивать, угрожая, того и гляди, выскочить за борт — и поминай, как звали. Предвкушали, как довольный Колян, забросив рыбину на плечо, понесет ее домой, а они, возбужденно обсуждая улов, будут крутиться около, стараясь чем-нибудь помочь, норовя хотя бы дотронуться до чудо-рыбы. Есть что-то необыкновенно чарующе притягательное в большой выловленной рыбине, сколько бы раз это ни случалось. «Не упустил бы ее Колян», — внутренне беспокоились пацаны. Коля нетерпеливо налегал на весла. С берега видели, как выплыв на середину-стремнину, он, закрепив в уключинах весла и оставив их на плаву, чтобы лодку меньше сносило по течению, возился с якорем, с трудом его поднял и выкинул за борт. Видели, как от плюхнувшего в воду якоря высоко взлетели брызги. А потом произошло что-то непонятное. Коля не закинул спиннинг, не стал зачарованно удить рыбу, а заметался в лодке, сильно ее раскачивая, размахивал руками, что-то кричал. Но река шумела, да и было далековато, слов нельзя было разобрать. Потом Коля перевалился через борт лодки и что-то долго рассматривал в воде. Выдернул весло и погрузил его в воду с той стороны, куда бросил якорь. «Глубину мерит, — комментировали на берегу. — Чо он мельтешится-то?» «А лодку-то че сносит течением? Якорь что ли не держит?»...

Когда Коля быстро погреб к берегу, удивление на берегу еще больше возросло: «Чего это он?» «Случилось чего-то...»

— Ты че, Колян?

— Пошто рыбачить не стал? А якорь где? — наперебой закидывали парня вопросами мальчишки, едва его лодка приблизилась к берегу. Лодка со скрежетом ткнулась носом в прибрежную гальку. Коля шустро выпрыгнул из нее и, ошарашено крутя головой, ошеломленно выдохнул: «Утоп якорь, е мое...» Пацаны молча испуганно уставились на него, как, мол, так — утоп?

— А вот так. Не сдагадался, е мое, к лодке-то привязать. Надо было еще тут, на берегу, закрепить его, е мое... Вот и наловил рыбы! Теперь не достать — глубоко там и несет шибко... Хотел нырнуть — да че толку-то, не достать, е мое, точняк — не вытащить теперь — все, баста!..

Пораженные, мальчишки слушали, открыв от неожиданности рты. А потом, будто прорвало, загалдели, предлагая свои варианты:

— Водолазов надо! Они достанут, — вскричал шупленький Саня, — я видел, как они тогда ныряли, чтобы тросы к трактору подцепить... Ну, когда Васькин «Беларусь» под лед-то ушел...

— То трактор совхозный, а то якорь чей-то... Поедут они тебе из города из-за этого, — с сомнением протянул худой и длинный четырнадцатилетний Пашка, который уже подрабатывал летом в совхозе, на конной сенокосилке. — Да им платить надо, совхоз тогда платил им за трактор-то... Это уж я точно знаю...

Ему поверили, что уж он-то точно знает, что за водолазов платить надо, ведь Пашкина мать работала в совхозе бухгалтером.

— Я лучше другой якорь куплю, — поразмыслив, с твердой яростью заключил Коля, — заработаю лишних денег за лето и куплю! На то зло, е мое, вот увидите...



Валерий Румянцев
(г. Сочи — г. Волгоград)



РАССКАЗЫ

Зорькин Борис Иванович родился в 1951 году в Оренбургской области в семье судьи. Среднюю школу окончил с золотой медалью. Учился в Куйбышевском авиационном институте, на юридическом факультете Северо-Осетинского госуниверситета. Окончив филологический факультет Воронежского государственного педагогического института, три года работал учителем, завучем в одной из школ Чечено-Ингушской АССР. После окончания Высших курсов КГБ СССР на протяжении тридцати лет служил в органах госбезопасности. Из органов ФСБ РФ уволился в звании полковника. Женат, имеет двоих детей и троих внуков. В настоящее время проживает в Сочи, работает директором санатория «Известия» в Адлере. На фото — Борис Зорькин.

С 1988 года выступает в печати в соавторстве с волгоградским писателем Гребенюком Валерием Владимировичем (литературный псевдоним двух авторов — Валерий Румянцев). Лирические и юмористические стихи, басни, эпиграммы, литературные пародии, лаконизмы, реалистические, сатирические и фантастические рассказы Валерия Румянцева печатались в различных газетах России и многих журналах («Чаян», «Капкан», «Окрошка», «Оса», «Новый крокодил», «Нахаленок», «Юный техник», «Нижегородская провинция», «Луч», «Русское эхо», «Литературный Башкортостан», «Литературные незнакомцы», «Золотое перо», «Южная звезда» и других). Вышло в свет десять книг Валерия Румянцева.

ОХОТА

У каждого человека есть небольшой круг людей, с которыми, в общем-то, и проживается жизнь. Вокруг сотни и тысячи, с которыми ты связан тем или иным образом, но они не являются участниками твоей жизни; они могут быть, а могут и не быть. Но есть единицы, в крайнем случае, десятки, без которых не было бы и твоей жизни в том виде, в котором она состоялась и еще будет продолжаться.

Для бывшего колхозного механика Григория Свиридова одинокая бабка Авдотья, живущая по соседству, — человек из его жизни. А свою жизнь не любить и не ценить нельзя. Ибо любить себя — это не право, а почетная обязанность. Хотя теперешнюю жизнь Свиридов и не ценил, и не любил, но у этой нелюбви уже другой смысл. Когда-то он был в колхозе механиком, и все машины и трактора были его гордостью. Их железное здоровье зависело от него, — и поэтому он с утра до вечера крутился, как белка в колесе. Потом пришли другие времена, и не стало в их селе ни колхоза, ни автомашин, ни тракторов. Да и сам Свиридов стал никому не нужен.

Вот и вчера, в новоявленный праздник — День единения России — никакого единения Григорий не почувствовал. И это несмотря на то, что СМИ и чиновники

самых разных рангов наперебой уговаривали его почувствовать это самое единение с Гайдаром, который бесцеремонно залез в его карман и вытащил деньги, собранные на ремонт дома; с Чубайсом, который отдал нефть будущим олигархам, а ему дал фантик и сказал, что это и есть его собственность; с Ельциным, который пропил Союз и расстрелял Конституцию и Верховный Совет; с Ходорковским, который хотя и пребывал ныне в тюрьме, но почему-то совершенно не вызывал у Григория сочувствия. Даже в своем селе Свиридов ни с кем не чувствовал единения; жил, так сказать, анахоретом. Он был бы рад осязаемо, грубо, зримо ощутить единение и поднять стопку с хорошей водкой или хотя бы плохого самогона с друзьями юных и поздних лет, но все они, увы, так далеко, что ни доехать, ни, тем более, долететь нет никакой возможности. Сейчас бы Минин не смог собрать ополчение, потому что кони остались только в конюшне Лужкова, а проезд на других видах транспорта оказался бы не по карману ополченцам. Приехал бы один Пожарский, князь все-таки...

Примерно так второй день размышлял Григорий, перебирая в памяти беды последних пятнадцати лет, которые сыпались на головы его односельчан. Очередной день уходил, оставляя призрачную надежду на утро.

А утро принесло новую беду. Ночью волки снова задрали теленка, теперь уже у бабки Авдотьи; того самого теленка, которого она собиралась за лето вырастить и осенью продать, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Одна надежда была у нее — на теленка, и того лишилась. Свиридов, увидев зареванную соседку, твердо решил поквитаться с хищником. Бабку Авдотью Григорий знал с детства, много добра она сделала для него, хотя, если разобраться, чужой человек. Впрочем, раньше отношения между людьми были намного добрее, не то, что теперь. Сейчас насаждается совсем другая философия: все только для себя, человек человеку — волк. «Вот и посчитаемся с волками», — усмехнулся про себя Свиридов.

Он взял свою старенькую «ижевку» и вышел из дома. Проходя мимо полуразрушенного строения, которое в советские времена было детским садом, Свиридов отметил, что летом еще были целы двери и окна. Сердце непроизвольно сжалось от мысли, что доламывают свои же, сельские. Возле территории тракторного отряда грустно подумал о том, что уже много лет там не слышно веселящего душу рокота моторов; вспомнил, как летом цыгане вывозили отсюда на прицепе металлолом. Повернул на окраину села к бывшей ферме, от которой остались одни стены. Прошел мимо, осматривая эти стены, и, еще более озлобленный, зашагал к лесу.

Пройдя через луг, схваченный первым морозцем, он бегом пересек еще укутанный туманными клочьями овраг, миновал песчаный пригорок и очутился в дубовой роще. В прозе жизни всегда найдется поэтическая строка. Лес встретил его свежестью и ничем не нарушаемой тишиной. Стояло ясное утро. Солнце еще только чуть-чуть поднималось над лесом, и приятно было ощущать на лице прикосновение его мягких лучей. Озлобленность стала притупляться, наверное, потому, что самые лучшие соседи — это лес, река и поле, граничащее с горизонтом. Двигаясь вдоль узкого ерика, Свиридов подошел к Волчьему броду. Здесь он остановился, поудобнее укрепил на спине рюкзак и уже осторожнее, держа «ижевку» наизготовку, направился к зарослям камыша и тальника. Он долго пробирался сквозь эти заросли, перемешивая ногами тонкий ледок с поблескивающей среди кочек водой. Когда, наконец, он вышел на остров, то уже порядком устал и почти жалел, что потащился в такую даль. Немного отдохнув, он осторожно пополз вдоль кустов ивняка к старой горелой иве, туда, где, по уверениям опытного охотника Семеныча, находилось волчье логово.

«Ты уж, Гриша, смотри, не оплошай. Постарайся, — говорил Семеныч Свиридову, когда узнал, что тот собирается на волков. — Я бы сам пошел, да занемог чтой-то. Значит, как пройдешь на остров, так и дуй вдоль ивняка, не сумлевайся. Как раз на логово и выйдешь».

Логово было под старым поваленным деревом, недалеко от берега. Его обитателей не оказалось, и Свиридов решил подождать их тут же. Он старательно замаскировался в кустарнике, положил ружье в развилку и стал ждать. Время как будто застыло на месте. Хотелось закурить. Пошарив рукой в кармане, убедился, что пачка «Примы» и спички на месте. Однако курить никак нельзя: волки почуют. От резиновых сапог заныли пальцы на левой ноге. Снять бы, но и этого делать нельзя: портяночный дух тоже может отпугнуть хищников. Придется терпеть. Вспомнил безутешные глаза бабки Авдотьи. Чем же ей помочь? А чем поможешь, если сам на мели? Просидев так больше часа, Григорий задремал.

Проснулся он от какого-то беспокойного чувства: было такое ощущение, что он не один на этой полянке. Свиридов осторожно выглянул из куста и сразу же увидел волков. Их было двое: стройные и ловкие, они весело гонялись друг за другом и издавали какое-то неуклюжее, до смешного непохожее на собачье, тьяканье. Звери настолько увлеклись игрой, что не замечали ничего вокруг.

Стараясь не дышать, Свиридов осторожно взвел курок. Прицелился в более крупного зверя и, услышав стук своего сердца, выстрелил. Оглушительный звук оборвал веселую игру. Крупный поджарый волк на бегу вздрогнул всем телом и медленно повалился набок. Он был убит наповал. Второй волк в первое мгновение кинулся бежать, но, оглянувшись и увидев, что его товарищ остался неподвижен, нерешительно остановился. Он пережил уже не одну зиму, не раз слышал звук выстрела и прекрасно понимал, что этот звук означает. Слепой страх и сознание своей слабости, своего бессилия перед людьми и их оружием гнали его вперед, дальше отсюда, призывали укрыться от этого ужасного грома, забиться куда-нибудь в чашу и замереть. Но, видно, было в его неискушенном зверином мозгу еще что-то, что не давало волку послушаться своего инстинкта. Это необъяснимое чувство толкало его к неподвижно лежавшему товарищу, навстречу смерти.

И оно победило. Зверь медленно подошел к телу убитого и, даже не взглянув на кусты, в которых притаился охотник, стал подталкивать лежащего волка мордой, словно призывая его подняться. Он все еще на что-то надеялся. Хотя откуда он мог знать, что мертвые не возвращаются? Его товарищ продолжал неподвижно лежать на земле. Тогда волк медленно поднял голову и завыл протяжно и отчаянно.

Свиридов вновь прицелился, но не смог выстрелить. Этот ужасный вой проник ему в душу, и охотник не выдержал. Он опустил ружье и, не оглядываясь, не думая об опасности, зашагал прочь. Он шел напрямик, спотыкаясь и не обращая внимания на хлещущие по лицу ветви кустов. Сердце колотилось почти у самого горла, а Свиридов хотел только одного: оказаться как можно дальше от этого места. И долго, долго вслед ему несся горестный волчий вой.

СУХАРИ

Жизнь устроена так, что у каждого молодого поколения есть свой враг. Поколению, к которому принадлежал Василий Черкашин, противник достался сильный, одно время даже казавшийся неодолимым. И звали этого врага немецкий фашизм. Черкашину немного повезло. На фронт он попал не в трагическом сорок первом, а в октябре сорок второго, когда и немцы начали выдыхаться, и наши солдаты многому научились, да и генералы тоже.

Прошел месяц, как Черкашин носил шинель, но ему казалось, что минуло уже полгода. Когда идет война, восприятие времени иное. Правда, до фронта они пока не добрались, хотя до него осталось рукой подать. Где-то там, за горизонтом, рвутся бомбы и снаряды, и ветер приносит только отголоски этих разрывов. Вчера утром их

колонну тормознули, и все они чего-то ждут. Никто не знает чего. Дали команду сдвинуться на обочину и стоять. Вот они и стоят. А мимо идут солдаты, идут и идут туда, где каждый день тысячами убивают и калечат. О чем думает каждый из этих солдат? Спросить бы их... А кто спросит? Не до расспросов сейчас.

Черкашин, как и другие ребята из его взвода, спасаясь от холода у костра, томился в ожидании. Сухари, которые каждому из них выдали как суточный сухой паек, уже давно перекочевали в их молодые желудки, и от этих сухарей остались одни воспоминания. Как часто бывает, в такие минуты разговор заходит о еде. Каждый вспоминал, какие блюда готовили дома, каков вкус этих блюд. Армянин Ашот хваливал хаш, который часто варила его мать, при этом он причмокивал, закрывая глаза. Казах Самет спорил с ним и доказывал, что лучше бешбармака ничего нет. Вспоминали и русские щи, и хашламу, и пельмени, и шашлык, и манты, и много еще чего. А москвич, по фамилии Берг, рассказал, как он до войны бывал с отцом в ресторанах, и называл блюда, о которых никто не слышал.

Когда мимо них проходили грузовики, покрытые брезентом, всем было ясно, что везут или боеприпасы, или продукты. Об этом стали говорить все громче, но пока была махорка, крамольных мыслей вслух никто не высказывал. Когда же козью ножку из последней махорки по очереди докурили, стало совсем паршиво. Махорка и кипятик еще как-то отвлекали от голода, но когда стемнело и остался один кипятик, раздался нерешительный голос Берга:

— Можно было бы разведать, что там везут в машинах, но нельзя. Мы же комсомольцы. Я правильно говорю, Черкашин? Ты же у нас комсорг.

Черкашин поежился толи от холода, толи от провокационного вопроса и ничего не ответил.

— Разведать-то можно,— продолжил тему Ашот,— только после этого и в штрафбат загреметь можно.

— Быстрее бы на фронт. Там-то, говорят, кормят нормально...

В разговор о том, какие же продукты везут в грузовиках на фронт, втянулись уже почти все. Не участвовали в этом разговоре только Черкашин и малоразговорчивый сибиряк Чуев. Василий как комсорг не имел права подрывать дух комсомольцев подобной болтовней. И он отмалчивался. Хотя в душе он соглашался с намерением своих завтрашних боевых товарищей. Только бы хлебных продуктов и махорки! На большее они не претендуют. Когда стемнело, Берг в шутку предложил провести комсомольское собрание на тему «Роль комсорга в обеспечении личного состава сухим пайком». Василий молча встал и отошел от костра.

— Наш комсорг так наелся, что пошел до ветру,— пошутил Берг, и взрыв хохота заглушил его следующую фразу.

Черкашин не случайно удалился от своих сослуживцев. Он услышал, как вдалеке послышался шум мотора. Машина шла в сторону фронта. В голове комсорга молниеносно созрел план. В двухстах метрах от него поворот дороги, значит, водитель снизит скорость. Там же, на повороте, ложбинка, в которой можно спрятаться, иначе свет фар машины зацепит его фигуру; тогда и шофер и сопровождающий груз будут настороже. Черкашин быстро добежал до ложбинки, снял шинель, кинул ее на землю, лег сам и, расстегнув несколько пуговиц на гимнастерке, превратился в охотника, который хочет убить голод. «Что я делаю? — растерянно мелькнуло у него в голове.— Ведь если узнают... Но ведь там же голодные ребята. Эх, была не была!» Когда полторка поравнялась с Василием и начала тормозить, он метнулся к машине, в мгновение ока зацепился за задний борт, подтянулся, нащупал ногой какую-то опору и правой рукой юркнул под брезент. Рука легла на картонный ящик, отодвинула какое-то препятствие и нащупала сухари. Почти машинально рука схватила добычу и отправила ее за пазуху. Несколько таких движений — и Черкашин спрыгнул на доро-

гу. Бегом он вернулся к шинели, быстро надел ее, растолкал добычу по карманам и, скрывая возбуждение, вернулся к костру.

— Черкашин! Еще один ужин проехал мимо... — не унимался Берг и кивнул на дорогу.

— Ну хватит тебе приставать к комсоргу, — прервал москвича Чуев. — Смотри, а то доболтаешься.

— Я так понимаю, что пора доставать «НЗ», — объявил Василий и начал раздавать сухари товарищам.

Все восхищенно загалдели, а Берг кинулся обнимать Черкашина, приговаривая:

— Ну, ты молодчина, настоящий комсорг. Всю жизнь помнить буду...

Когда ели сухари, все понимали, как эти сухари попали в карманы к Черкашину, но вслух никто не проронил ни слова. Костер, кипяток, да еще и сухари — уже можно было жить. После непредвиденной трапезы Чуев махнул рукой и к изумлению всех выпалил:

— Раз пошла такая пьянка!..

При этом он достал три щепотки махорки: все, что у него оставалось на черный день.

Вкус тех сухарей и той махорки Черкашин запомнит на всю жизнь. А жизнь у него была еще впереди. Два года, проведенные в окопах, завершились тяжелым ранением. Орден Славы на груди говорил о том, что те сухари ему можно было простить. Черкашин вернулся с фронта и пошел дальше по дороге жизни. Звезд с неба не хватал, работал токарем в вагонном депо и так дожил до пенсии.

Прошло много лет. Очень много. Ушли годы — и ни слуху, ни духу... Василий Степанович Черкашин только что перешагнул семидесятилетний рубеж. Возраст, которого он достиг, — это было одно из его достижений. Однако радости от этого он не испытал. Пришли другие времена, когда борцы с привилегиями перешли на сторону противника, когда в гонке за богатством победителей уже не судили, когда торжество лжи широко освещалось через средства массовой информации, когда опьянение свободой пока еще не вызвало похмелье заднего ума, когда из двух зол стали выбирать тайным голосованием. А выборы в Думу? Они показали, что только очень богатые люди могут позволить себе думать о родине. Ветер перемен поднял пыль, за которой Черкашину трудно было рассмотреть происходящее. Вокруг него бурлила совершенно иная, чуждая для него жизнь. То, ради чего он проливал свою кровь, за что в меру своих сил боролся всю свою жизнь, новая власть, не задумываясь, перечеркнула. Получалось, что свою жизнь он прожил зря. Черкашин так же, как и миллионы других его соотечественников, растерялся в этой новой жизни. Он не понимал и не хотел понимать, как это всего за три-четыре года одни россияне умудрились заработать миллионы долларов, а несколько человек — миллиарды. Сам Черкашин относился к той категории, кого судьба бросила в потребительскую корзину, а попала в мусорную. Пришло время, когда будущее уже не таило в себе надежду. Видимо, поэтому он достал бумажный портрет Иосифа Сталина, который бережно хранил много лет, и кнопками прикрепил его у себя дома на видное место.

Однако и в новой жизни у Василия Степановича иногда бывало что-то хорошее. Поздней осенью, когда пожаловали первые морозы, ему неожиданно дали путевку в санаторий. Подавляющее большинство отдыхающих сочинского санатория «Волна», куда прибыл Черкашин, составляли так называемые «социальники», то есть те, кому государство выделило бесплатную путевку и оплатило дорогу до здравницы и обратно домой. В основном это были пожилые люди, которых жизнь особо не баловала. Стояла уже середина ноября, но солнце не до конца растеряло свой задор. С деревьев тихо и безропотно сыпались листья. Василий Степанович сидел на лавочке и смотрел на листок, который только что упал к его ногам. Еще немного лет, подумал он, и он

также, как этот листок, упадет и исчезнет с лица земли. Хотя обед в столовой санатория уже начался, Черкашин не спешил. Он вошел в столовую специально позже всех, кушал не спеша, чтобы уйти последним. Это он делал для того, чтобы в обезлюдевшем зале взять с десятка кусочков хлеба. После этого он сразу же направился в свою палату и бережно разложил принесенные кусочки на теплую батарею.

И так происходило изо дня в день.

За два дня до отъезда Черкашина из санатория, погода закапризничала: резко похолодало и пошел нудный мелкий дождь. Генеральный директор санатория сидел у себя в кабинете в плохом настроении, но не по причине паршивой погоды. Он погружен был в раздумья о том, как дополнительно выкупить акции санатория, чтобы контрольный пакет был у него в руках. А как известно, пока цель не достигнута, она господствует над нами. Его размышления прервал стук в дверь. Вошла заведующая корпусом и, не успев отдышаться, негодуящим тоном стала докладывать:

— Николай Алексеевич, у нас ЧП. Только что горничная сообщила, что при уборке сто четырнадцатой палаты она обнаружила рюкзак с сухарями. Как выяснилось, рюкзак принадлежит отдыхающему Черкашину...

— Ну это разве ЧП,— равнодушноотреагировал руководитель здравницы. Потом он встал из-за стола, подошел к окну, на мгновение задумался.— Наверно, этот Черкашин — человек пожилой?

— Да, Николай Алексеевич, вы прямо в точку попали. Черкашин — участник Великой Отечественной войны. Зовут Василий Степанович,— уже спокойнее продолжала докладывать заведующая корпусом.

— Пригласите его сейчас ко мне,— сказал хозяин кабинета и снова стал смотреть в окно, дав понять, что разговор окончен.

Вскоре в дверь кабинета генерального директора нерешительно постучали и на пороге показался сухощавый старичок среднего роста. Он неуверенно закрыл за собой дверь и в нерешительности застыл на месте. Костюм на нем был потертый, старого фасона, в руках он сжимал выгоревшую фуражку. Видавшие виды ботинки красноречиво свидетельствовали о том, что их хозяин сушит сухари не от хорошей жизни. От спального корпуса до административного здания старик шел без зонта — и его обремененное глубокими морщинами лицо было влажным.

— Проходите, присаживайтесь,— спокойно предложил хозяин кабинета и указал жестом на приставной стол, облепленный с двух сторон стульями.

Старик сел, положил фуражку себе на колени и опустил голову. Он знал, о чем пойдет речь.

— Пожалуйста, дайте вашу санаторно-курортную книжку.

Черкашин вынул из внутреннего кармана книжку и молча протянул ее генеральному директору. Николай Алексеевич не спеша полистал страницы, убедился, что отдыхающий принял йодобромные ванны, гидромассаж и другие процедуры.

— Василий Степанович, а скажите мне, зачем вы сушите сухари? Только честно.

Лицо у старика дрогнуло, и на глазах выступили слезы. Он наклонил седую голову и стал рукой вытирать глаза. После затянувшейся паузы он хотел что-то сказать, но горло не слушалось, и он смог только проглотить слюну.

— Я прошу прощения, но я хочу получить ответ на свой вопрос.

Черкашин тяжело вздохнул и стал объяснять:

— Понимаете, мне уже восемь месяцев не платят пенсию. То задерживали на три-четыре месяца, а в этом году стало еще хуже... Мне-то пенсии хватало. Я ведь один. Жену похоронил. Сын с семьей в Приморском крае. Живу на станции под Ленинградом. Все бы ничего, если бы пенсию давали... А без хлеба как? Вот, думаю, сухарей хоть привезу и дотяну. У меня ведь огородик, куры... Деньги-то у меня были на книжке, были деньги. Да Ельцин все отобрал... — кулаки у старого солдата невольно сжались.

— Ну, понятно. Да вы не расстраивайтесь, Василий Степанович. Время сейчас тяжелое, я вас ни в чем не виню.

Они поговорили еще минут пять. Выяснилось, что Черкашин уезжает на два дня раньше срока: хочет быть дома к годовщине смерти жены. В заключение беседы Николай Алексеевич проводил ветерана до двери, пожал руку и добродушно сказал:

— Если будут еще раз давать путевку в наш санаторий, приезжайте.

Оставшись один, руководитель санатория вернулся в свое кресло и набрал номер телефона своего заместителя по питанию.

— Полина Георгиевна, есть такой отдыхающий Черкашин Василий Степаныч — участник войны. Он уезжает на два дня раньше срока. Хоть это против наших правил, организуйте ему сухой паек на дорогу. Путь до Санкт-Петербурга неблизкий, а до Ленинграда еще более далекий...

Через два дня Черкашин уезжал домой. На перроне он купил газету и сел в поезд. Когда вагон вздрогнул и покатился, он достал очки, развернул газету и стал знакомиться с последней страницей. В колонке под названием «Фразы» он прочитал: «Мимо нас прошла целая эпоха, а мы остались невозмутимы и загадочны, как сфинксы». Василий Степанович отложил в сторону газету и, глядя в окно, долго думал над этой фразой.

ВСЕГО ОДИН ДЕНЬ

— Построиться во дворе! — раздалась команда, и омовец Михаил Воропаев отложил журнал в сторону, сожалея, что не успел прочесть только что начатый рассказ.

Во дворе двухминутный инструктаж командира и — вперед.

На улице пахло весной. Ветви деревьев и кустарников ожили, почки уже готовы были взорваться зеленью, но Михаил не обращал на это внимания. С утра стало ясно, что сегодняшний день у него будет тяжелым. В городе готовилась несанкционированная массовая демонстрация протеста. И вот их подразделение уже вывели к началу одной из центральных улиц и поставили задачу не допустить прорыва демонстрантов на площадь. В голове у Воропаева еще мельтешили фразы, вылетевшие из уст командира во время инструктажа: «Экстремисты... подорвать авторитет президента... пытаются дестабилизировать... враги Отечества... наш святой долг...» В милиции Михаил служил всего третий год. Высокий, крепкий он перешел в ОМОН только по той причине, чтобы быстрее поступить в юридический институт МВД. И он поступил. Получить высшее образование другим путем для него было делом проблематичным. Теперь за обучение надо платить, а он из семьи бедняков. Еще в школе он мечтал стать юристом. Мечта — это надежда в объятьях воображения. Воропаев жил надеждой, что окончит институт, получит офицерское звание. А его воображение рисовало ему картины, когда он станет руководителем с погонами полковника милиции. Однако наступлению звездного часа мешают тучи жизни. За спиной надежды всегда стоит разочарование и ждет своего часа. Чем дольше он служил, тем больше видел разноликой мерзости в стенах своего ведомства. Руководители всех уровней и рядовые омовцы не только переступают закон, но и вытирают о него ноги. Михаил знал, что воруют давно, но увидел, что прятать перестали недавно. В результате покупались иномарки, строились особняки. Воропаев видел, что граница порядочности осталась без охраны. И его матери, и его девушке, в которую он влюбился с первого взгляда, не нравилась его работа. У Михаила возникал вопрос: неужели цель его жизни оказалась учебной? Появились сомнения, правильно ли он выбрал профессию. На червя сомнения часто клонит пессимизм, и улыбка на его лице стала появляться

все реже и реже. Он не пытался выкручиваться перед лицом своей совести. Он хотел разобраться. Если уж быть орудием в чьих-то руках, то не слепым, а зрячим. Заочная учеба в институте, самообразование, служба в милиции раскрыли Воропаеву глаза на жизнь так, что временами хотелось зажмуриться, потому что он смотрел глазами, но видел сердцем. Картины, которые рисовала жизнь, не утешали: кругом нищие, бомжи, наркоманы, малолетние проститутки, повальное пьянство... Идеалы рушились, а где рушатся идеалы, суется мародеры. В мутном потоке жизни видимость ухудшается, но Воропаев видел это. Народ болен, а у больного поколения врачи кумирами не бывают. Да и кто они — врачи? На душе все чаще становилось противно. Ведь погода в душе зависит от климата в голове, а из головы труднее всего выбрасывать тяжелые мысли. Он хотел переворачивать страницы своей жизни чистыми руками. Налицо было напряжение в обществе, а брожение в обществе вызывает опьянение масс. Одни подались в религию, другие — в политику, третьи кинулись обогащаться... Одни стали белыми, другие — красными. Пропасть между богатыми и бедными растет бешеными темпами, увлекая за собой слабых и с той, и с другой стороны. Набирает обороты ненависть, а классовая ненависть — продукт длительного хранения. В стране царит двоевластие общественного мнения. Понятно, что рано или поздно Ельцин уйдет, но будет ли его преемник лучше? Борьба за свои убеждения преимущественно ведется с самим собой. Воропаев никак не мог понять, кто прав: коммунисты или демократы. С одной стороны, в той жизни не все было так, как хотелось; с другой стороны — в целом для людей стало еще хуже. Воропаев видел, что большинство историков страдают умышленным склерозом, чувствовал, что так называемая историческая правда — это всего лишь отретушированная ложь. Неужели революция — это болезнь, которая лечится только народными средствами? Много вопросов в последние месяцы задал себе Воропаев. Очень много. Но ответов не находил. Труднее всего искать, когда потерял душевное равновесие. В какой-то момент он почувствовал, что его совесть не чиста. Как много людей, ощущая муки совести, ничем не могут ей помочь! Михаил был одним из них. Приходилось жить в одной упряжке с теми, кто рядом. Когда он однажды попытался заговорить на волнующие его темы с сослуживцами, над ним грубо посмеялись и посоветовали помалкивать. Есть правда, о которой можно только молчать. И он помалкивал. Кто там, в той толпе? Да те, у кого нагло отняли настоящее, а скорее всего, и будущее. Да он и сам на своей шкуре испытал, что такое инфляция, повышение тарифов за квартплату, скачок цен в аптеках... Иной раз он тратил ползарплаты, чтобы купить своей матери лекарства. У тех, кто идет на него в толпе, тоже есть близкие. Но демонстранты нарушают закон! Так что же им делать? И вот совсем скоро они подойдут, а он вместе со своими сослуживцами должен будет колотить их дубинками. Если он откажется это делать, то прощай юридический институт и карьера в милиции. А ведь ему как-то надо устраивать свою жизнь. Отца нет, мать тяжело больна, надеяться не на кого, а хочется быть уверенным в завтрашнем дне. Впрочем, у кого сегодня есть уверенность в завтрашнем дне, кроме кладбищенских работников?..

В конце улицы послышался шум. Идут! Им нечего терять, потому что в новой жизни они еще ничего не нашли. Показались красные флаги и транспаранты. Из мегафона не совсем четко вырывались призывы, в которых преобладало слово «долой!». Над толпой витал ореол ненависти, которая имела массу оттенков, но она была лишена светлых тонов. Чем ближе подходила толпа, тем виднее становилось, что она напоминает организованную колонну.

— Остановить! Любой ценой!.. — истерично кричал командир, обходя быстрым шагом шеренгу своих подчиненных.

Через несколько минут толи толпа, толи колонна, не замедляя шага, приблизилась к омонцам. Уже отчетливо были видны фигуры. Михаил поправил на голове

свой шлем. А вот уже просматриваются и лица. Решительность на лицах говорила о том, что столкновение неизбежно. Еще через мгновение Воропаев выхватил свою резиновую дубинку, замахнулся и ударил первого человека, потом второго, третьего... Началась потасовка. Мелькали чьи-то глаза, плененные злобой. Перекошенные рты плевались нецензурной бранью. Становилось ясно, что демонстранты не сомнут омовцев, хотя и существенно потеснили их. Когда кипят страсти, пар опасен для окружающих. Удара по голове Михаил не почувствовал. Что было в тот день дальше, не помнил.

Через месяц Михаил выписался из больницы и подал рапорт на увольнение. Дорога жизни хороша тем, что можно пойти на все четыре стороны. За год он сменил несколько профессий, похоронил мать. Со своей девушкой он расстался — любовь с первого взгляда нередко заканчивается со второго. Его дорога жизни больше напоминала бездорожье. Он никак не мог поймать птицу счастья. Может быть, потому, что она из числа перелетных.



Роза Нарышкина
(г. Алексин)



ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА

Она действительно пришла, эта жестокая война, разлучившая многие сердца и поправшая нашу родную землю. Юлия, будучи врачом, ушла на фронт, оставив маленькую дочь Валентинку на попечение матери, увезшей лопотунью в Сибирь — оставаться на Украине опасно: немцы наседали. Павлик, как любовно звала Юлия мужа, ушел по призыву на фронт воевать с немцами, определившись в пехотные войска. Юлия начала свой боевой путь с санбатом в Белоруссии. Страна отчаянно защищала свои земли, изгоняя фашистскую нечисть; освобожденные территории засеивались и строились, — в тылу люди трудились, как волю, помогая фронту.

Павел Рябоконт служил, воюя на украинском фронте. Среднего роста, с лукавинкой в карих глазах, он был любимцем среди солдат: уважали за доброту сердца и неиссякаемый юмор. Писем от Юлии не было, и он стал тревожиться за семью. Особенно тяжело было по ночам или в часы передышки — мысли, как тараканы, лезли и мучили до сердечной боли. Сколько треугольничков отправил — ни ответа, ни привет. Одним словом, растерялись с женой на дорогах войны. Потом — окружение, немецкий плен, и вовсе пропала надежда и выжить, и встретиться с семьей. Лежа на нарах, он старался не думать о жене, о малышке, и однажды довел себя до слез. Еще одни воспоминания теребили душу солдата...

* * *

Проходя с войсками через город Ржищев, что недалеко от Киева, он решил проведать родителей, живших на хуторе, вблизи города. Отец и мать встретили с большой радостью и горькими слезами: его старший брат Тимофей погиб в немецком плену, младший — пропал без вести. А Григорий воевал где-то, старики весточки не имели и надеялись, что живой.

По распоряжению начальства распределились по хатам, чтобы после изгнания немцев упрочить позиции, потом пойти дальше, освобождая родную Украину. Павел обосновался в одной хатке, утопающей в цветущем саду. Хозяйка Катерина встретила солдата приветливо.

— Проходите, будь ласка! Боже, який худий, — воскликнула она, и в глазах ее, синих и ласковых, появились слезинки.

— О тож, коли було їсти — війна, — улыбаясь, отвечал Павел.

— Зараз поїдаєте, у мене борщ.

Катерина привлекла внимание Павла приветливой улыбкой и синевою глаз. «Словно васильки...» — подумал он, глядя на нее. Это была Любовь с первого взгляда. Павел, истосковавшийся по женской ласке, всей душой привязался к ней, да и она, тоскующая в своем одиночестве, влюбилась в постояльца, как девчонка. «Любий мій Павліку!» — горячо шептала молодая женщина, страстно целуя солдата. Впервые она познала счастье любви, не думая о том, что вот-вот он уедет (идет же проклятая война!), и она снова одна, теперь уже без ласковых мужских рук и сияния влюбленных карих глаз. Катерина знала о затерявшейся семье Павла и, совсем не ревнуя, ждала его.

Приятные воспоминания, перемешанные с чувством горькой разлуки, теребили душу солдата. «Бедная Катя...» — думал о ней Павел, вспоминая милую и доверчивую улыбку синеглазой женщины. «Если выживу, семью не найду, вернусь к ней», — подумал он, потом, уже на рассвете, сомкнул глаза и сон навалился всей своей тяжестью. И только слышны были капли воды, падавшей со стен отсыревшего барака.

* * *

Победа, долгожданная, наконец, пришла. Народ и ликовал, и плакал, — многие не вернулись, оставшись на полях сражений навечно. Павел был освобожден из плена советскими войсками и занялся поисками семьи; куда ни обращался, куда ни писал, никто ничего не знал — семья пропала. И тогда он решил вернуться в белую хатку, утопающую в вишневом саду. Да и родители рядом.

Сколько радости и счастья в синих глазах Катерины увидел Павел, взбежав на знакомое и ставшее родным крыльцо. «Ждала все годы войны, ждала, моя хорошая!» — думал он, крепко обнимая женщину. Но счастье оказалось недолгим.

Еще до войны Павел закончил сельскохозяйственную академию и вернулся после победы над Германией в эту сферу деятельности. Его ценили как хорошего специалиста, поначалу не доверяя, — сидел все же в плену, со временем простили. Павел обосновался в Винницкой области, но до этого... произошла нечаянная и долгожданная встреча. На конференции работников сельского хозяйства в Киеве ему выпала честь выступить перед коллегами, поделиться своим опытом работы, поучиться у других. Потом был поход в театр, где он с большим волнением слушал знакомые мелодии «Наталки-Полтавки». На выходе из театра он вдруг заметил знакомую фигурку женщины, — сердце как-то сжалось, встрепенулось и заныло. Еще раз посмотрел и... узнал — это шла Юля, его дорогая жена.

— Юля, милая, это ты? — кинулся к ней Павел.

— Павлик! Боже мой! Я думала, ты погиб!

— Родная моя, я искал вас, но напрасно, и вот где довелось встретиться...

— Ты изменился. Красавец мой, наконец-то мы будем вместе, — взволнованно сказала Юлия.

У Павла перехватило дыхание. «Как сказать ей, что у меня давно другая женщина?»

— Нам надо поговорить. Я долго был в немецком плену, — тихо сказал Павел.

— Боже мой! Как же ты выжил? Не иначе, как моими слезами и молитвами.

— Есть еще женщина... Она тоже ждала. Нам надо серьезно поговорить, Юля, — повторил Павел.

— Хорошо, Павлик, поговорим. Женщина ждала? — с удивлением спросила жена.

— Как наша дочурка? Выросла за годы войны?

— Она уже в школу ходит, учится хорошо. Вся в тебя!

Встреча с женой решила судьбу сложившегося треугольника. Павлу пришлось объясниться с Катериной, рассказать о встрече с женой, и она не протестовала. «Бедная моя голубка, опять будет одна, не совсем, конечно, у нее теперь есть сын, хороший, здоровый мальчуган. Мой сын!» — с грустью и гордостью думал Павел.

Юля тоже все поняла и не упрекала мужа, видно годы войны изменили и обострили чувства.

— Павлик, дорогой мой! Как ты решишь сам, так и будет, — сказала тихо она и заплакала.

— Я все решил: мы с тобой не расстанемся никогда. Я не забыл тебя и нашу Валентинку.

* * *

Прошли годы. Дочь стала почти взрослой, заканчивала среднюю школу, и надо думать, куда ее определять: в техникум или институт — куда получится. Дочь Валентина вышла вся в отца: большие карие глаза с той же лукавинкой, крепкая и спор-

тивная девушка, она привлекала молодостью и здоровьем. Как-то решили Павел с Юлей навестить стариков (отца и мать Павла), у Юли родителей не было, давно умерли. Юлия знала, что увидит и Катерину, проживающую в городе Ржищеве, что стоит на берегу Днепра. Павел любил этот город, он не забыл свою «голубку» и сына, выросшего без него.

— Доченька, сходим в Ржищев, там и пляж хороший, искупаемся? — спросил Павел с надеждой в голосе.

— А что, до города пять километров, выйдем утром пораньше, сходим на базар...

— И еще в гости зайдем, ты узнаешь хозяйку, где я в войну квартировал, недолго.

— Как интересно! Конечно, зайдем, — обрадовалась дочка.

Погода выдалась теплая. Солнце еще только всходило. На траве лежало холодное серебро росы. Утро только начиналось. За разговорами идти было весело. А вот и знакомая, чисто выбеленная хатка, утонувшая в саду. Катерина встретила с ласковой улыбкой, давно ожидала своего Павла, о его приезде люди сказали.

— Здравствуй, Катя! Вот пришли к тебе с дочкой Валентиной. А где сын?

— Скоро будет, послала на рынок. Проходите в хату, — сказала Катерина (на удивление Павла) на русском языке, правда, с легким акцентом украинского.

— Ты работаешь все там же? — спросил Павел.

— Да, на почте, — сказала женщина, глядя на девочку и отметив про себя: а дети похожи.

Валентине интересно было все. На стене фотографии родственников, женщины в украинских одеждах привлекли ее внимание. В центре, среди фотографий, висела одна — на ней изображены отец с хозяйкой дома.

— Идите за стол, будем сидеть, — пригласила Катерина, и Валя с аппетитом начала уплетать вареники с творогом, макая их в густую сметану. Потом пили взвар, густой, настоянный на сухих фруктах.

А вот стук калитки.

— Валечка пришел, — спокойно сказала Катерина и посмотрела на взволнованное лицо Павла. — Сынку, Павел Петрович приехал в гости с дочкой.

Подал руку мужчине, он с любопытством посмотрел на симпатичную девушку и сказал:

— Я Валентин. А ты?

— Меня тоже зовут Валентиной. Интересно, родители будто сговорились.

— Меня мама, наверно, назвала в честь тебя, она ведь знала, что ты есть у Павла Петровича.

Павел наблюдал за сыном и тихо сказал Катерине:

— Хорошего хлопца вырастила, Катя! Спасибо!

— О чем это вы? — спросила Валентина.

— О том, что взрослые вы у нас, станете друзьями, — сказал Павел, улыбаясь.

Он давно приметил, что сын пошел в его породу, глаза только материнские — словно васильки. Крепкий, в плечах раздался, и не удивительно — парень занимался спортом. Улыбка добрая, мягкая, как у матери.

Прощались дружески, сын подал руку дочери и, задержав ее, сказал:

— На днях уезжаете? Напишешь, я тебе отвечу.

— Хорошо. Ты добрый хлопец, мне такие нравятся.

— Какие такие?

— Простые, искренние. С тобой легко говорить, не то, что наши в классе — задаваки, — засмеялась девушка.

Сердце Катерины почувствовало неладное. Молодые люди начали встречаться, пока ничего страшного, но мать заметила, как сын менялся, когда, надев чистую рубашку, бежал на хутор к подруге. Юлия принимала его по-доброму, надеясь, что скоро они уедут и эти встречи забудутся.

Катерина решила поговорить с Павлом, связавшись с ним через ржищевского друга:

— Паша, что делать с детьми? По-моему, они влюбились...

— Этого нельзя допускать, Катя! Поговори с сыном...

— Вы должны немедленно уехать, свидания детей прекратятся сами собой.

— Не думай, что они легко уступят. Там, в Бершади, я поговорю с дочкой, — пообещал Павел. — Но ты тоже должна сказать сыну правду.

На том и порешили. По приезде домой Павел затеял разговор с дочкой, не откладывая его надолго.

— Как тебе, Валя, сын Катерины?

— Добрый хлопец! Мы подружались, обещали друг другу писать.

— Он тебе нравится? — с тревогой в голосе спросил Павел.

— Да, он хороший.

— Доченька, ты можешь любить Валю, как брата, как друга, — начал Павел.

— Я в будущем могу и замуж пойти за него!

— Никогда этого не будет! — взволновался Павел.

— Это мы еще посмотрим! Свою судьбу я буду решать сама, — парировала дочка.

Вошла с работы Юлия и услышала обрывки разговора отца с дочкой.

— Что случилось, Павлик?

— Наша дочь собралась замуж за сына Катерины.

— Вот как? А как же учеба? И ему надо учиться в военном училище.

— Да нет, мама! Замуж потом, а сейчас мы просто дружим, — взволновалась Валентина.

— Говори с дочкой сам, — спокойно сказала Юлия и вышла.

— Доченька, боюсь, ты меня не сумеешь понять... — грустно проговорил Павел.

— Рассказывай! Что вы натворили, я взрослая, пойму.

— Валентин — мой сын. Катерина родила его от меня, — тихо сказал Павел, понурившись.

Наступила тишина. Он даже испугался, потом раздался надрывный голос:

— Что ты натворил? Как ты мог? А как же мы с мамой?

— Прости меня, родная! В жизни все бывает. Я долго искал вас, но напрасно, и думал, что уже никогда вас не увижу. Война многих разлучила. Я считал вас погибшими.

Валентина долго и горько плакала — Павел не знал, что делать. Потом, успокоившись, она сказала:

— Я тебе, папа, не судья. Но ты разбил мое сердце! — сказала убийственно отрешенным голосом дочь, и ему стало не по себе.

Валентина никогда не встретится с избранником сердца, — об этом позаботятся родители, но в этой драматической встрече скрыты жизненные неудачи в личной жизни героев. Выйдя замуж после окончания торгового техникума и родив девочку, Валентина прожила в браке недолго, — муж заболел и вскоре умер. Молодой вдовой, с ребенком на руках, она едет в Армению с новым мужем — его армянская родня изгоняет ее. В третьем браке она имела мужчину-музыканта, изменявшего ей с девицами и потом уехавшего на Север. От него рос у нее сын. «Где это счастье? Бывает ли оно?» — сказала себе Валентина и навсегда отказалась от замужества.

Однажды пришло письмо из Сан-Франциско на родном украинском языке. Писал вдовец, желавший с ней познакомиться для совместной жизни, и фото ее имел (не без помощи друзей). Посмотрев на фото, богач сказал: «О, ця жинка буде моею».

Но Валентина сказала матери: «Родину не предаю, родную землю не оставлю». Слово сдержала — не поехала.

О брате Валентине не вспоминала — больно сердцу. После окончания военного училища Валентин обосновался где-то в Белоруссии, но это уже другая история.